

# Ф. Ницше



---

---

ВЕСЕЛАЯ  
НАУКА

---

---

Фридрих Ницше

**Веселая наука**

«Фолио»

1882

## **Ницше Ф. В.**

Веселая наука / Ф. В. Ницше — «Фолио», 1882

«Веселая наука» (1882) была одной из самых любимых книг Фридриха Ницше. Она не только несла определенный полемический заряд, но и имела целью предложить позитивную программу по преобразованию науки, философии и, в конце концов, мировоззрения. Хочется надеяться, что этот оригинальный проект будет интересен современному читателю.

© Ницше Ф. В., 1882

© Фолио, 1882

# Содержание

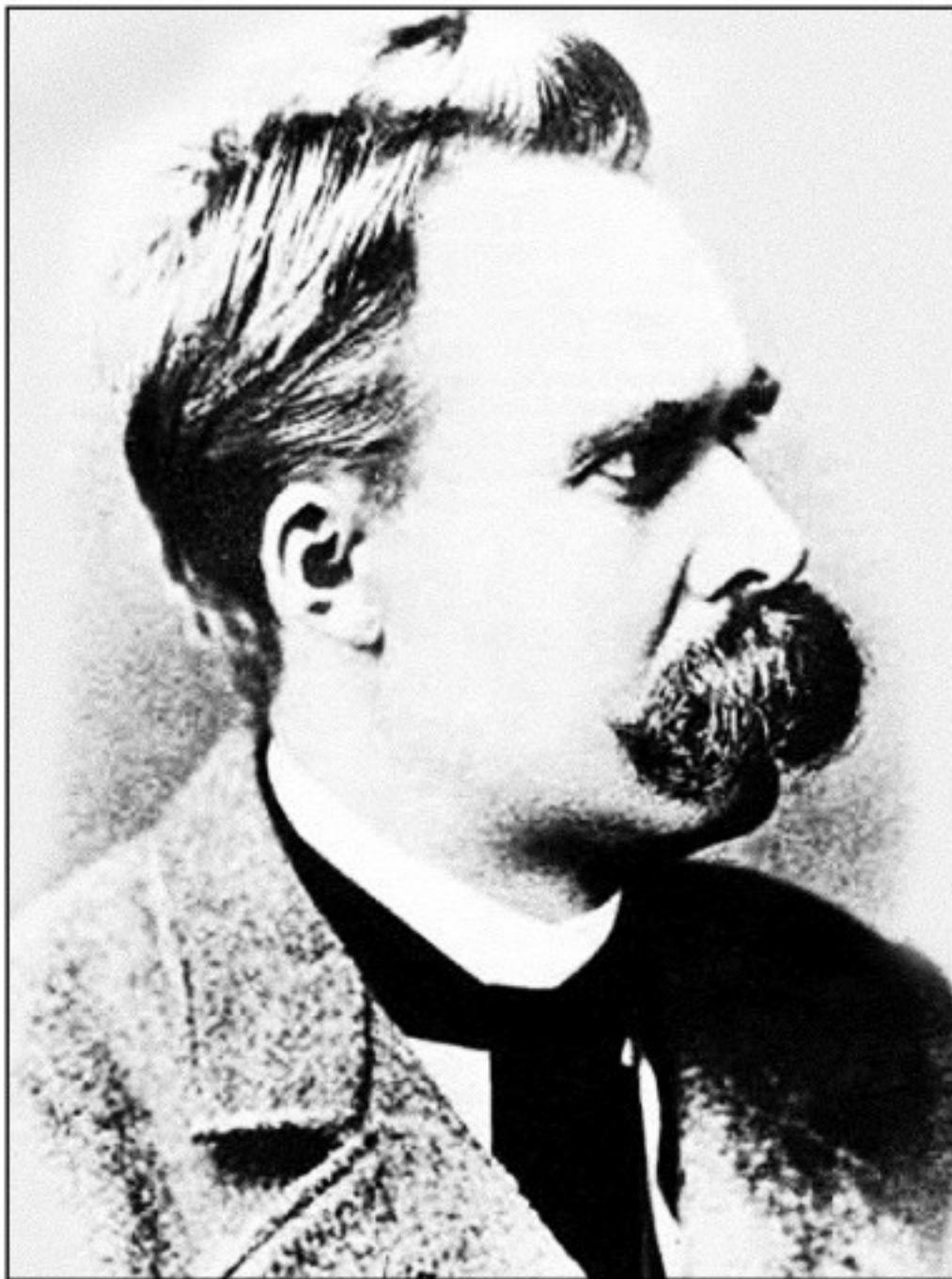
Предисловие ко второму немецкому изданию	6
1	6
2	8
3	10
4	11
Шутка, лукавство и месть	13
Книга первая	23
Книга вторая	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

# Фридрих Ницше

## Веселая наука (La gay a Scienza)

*Я у себя живу  
И никого себе примером не беру.  
И если вы, решась учить других,  
Бессильны осмеять себя самих,  
То сами вы достойны смеха.  
Надпись над моею дверью.*

## Предисловие ко второму немецкому изданию



### 1

Можно было бы дать здесь не одно, а несколько предисловий; но я сомневаюсь, чтобы путем предисловий мы достигли чего-нибудь существенного. В самом деле, мы ведь все-таки будем не в силах при помощи их приблизить к пережитому над вопросами, выдвинутыми в этой книге того, кто никогда не переживал ничего подобного. Она вся как бы написана на языке теплого ветерка: что-то задорное, беспокойное, противоречивое, непостоянное слышится в ней; каждому здесь одинаково чувствуется и близость зимы, и победа над этой зимой, которая идет,

должна прийти и, быть может, уже наступила... Благодарность вырывается непрерывно, как будто бы случилось что-то крайне неожиданное, и это – благодарность человека выздоравливающего, ибо неожиданностью-то и было выздоровление. «Веселая наука», название это указывает на сатурналии духа, который долгое время терпеливо выдерживал на себе страшный гнет – терпеливо, сурово и холодно, не покоряясь ему, но и не питая надежды от него освободиться; и вот сразу осенила его надежда на выздоровление, да и самое упоение здоровьем. И тут-то вот – к нашему удивлению – в надлежащем освещении выступает много такого, что было неразумного и прямо-таки глупого, умышленно расточается много нежности на вопросы колючие, которые обыкновенно не вызывают к себе теплого, внимательного отношения. Вся книга эта сплошь представляет собою праздник после продолжительного периода всякого рода лишений и бессилия; является ликованием возвращающейся силы, вновь пробудившейся веры в завтра и послезавтра, внезапного чувства и предчувствия будущего, близкой удачи, моря, вновь очистившего свою поверхность ото льда, целей, которые было позволено поставить снова и которые снова возбудили к себе доверие. А что осталось сзади меня! Пустота, изнурение, неверие в юности; старость не вовремя; тирания физического страдания, которое уступило место тирании гордости, отрицавшей все выводы, сделанные под влиянием страдания – а ведь выводы эти были утешением; – полное одиночество, как личная оборона против человеконенавистничества, ставшего до болезненности ясновидящим; принципиальное ограничение себя в области знания тем, что есть в нем горького, тяжкого, болезненного, как это предписывало отвращение, которое разрослось постепенно под влиянием неразумной духовной диеты и потворства, – известных под именем романтизма, – о, кто бы мог, подобно мне, прочувствовать все это! Да, тот простил бы мне не только мою безумную, распущенную «веселую науку», он простил бы мне и ту горстку песен, которую я прибавил на этот раз к своей книге – песен, в которых поэт почти непростительным образом издевается над всеми поэтами. Но увы! не на одних поэтов и их прекрасные «лирические настроения», должен излить свою злобу этот вновь воскресший человек: кто знает, какой жертвы он ищет, какое чудовище пародии прельстит его в ближайшем будущем? «*Incipit tragoedia*» – вот то заключение, которое звучит в конце этой рискованной, но неопровержимой книги: берегись! Возвещается что-то изумительно скверное и злое, и нет сомнения, что *incipit parodia*.

## 2

– Но оставим г. Ницше в покое: что нам за дело, что он, г. Ницше, снова стал здоровым?.. У психолога немного еще столь интересных вопросов, как вопрос о соотношении между здоровьем и философией; вот почему даже к своей собственной болезни он присматривается с чисто научным любопытством. Личность и философию ее связывают обыкновенно неразрывно, но не надо забывать тех различий, которые обыкновенно здесь наблюдаются. У одного философия слагается под давлением его нужды, у другого – под влиянием его богатства и силы. Первый чувствует известную потребность иметь свою собственную философию, как точку опоры, как средство, которое даст ему возможность успокоиться, излечиться, освободиться, возвыситься, уйти от самого себя; у второго она является роскошью, в лучшем случае сладострастием торжествующей признательности, которая в конце концов должна быть начертана громадными космическими буквами на небесах идеи. Но каково же будет творчество той мысли, которая находится под гнетом болезни? – а ведь именно чаще и бывает так, что та или другая философская система определяется состоянием крайней необходимости. Именно это мы и наблюдаем у больных мыслителей, каковые в истории философии представляют из себя, быть может, подавляющее большинство. Психологам приходится сталкиваться с этим вопросом, и он, надо заметить, не выходит из сферы экспериментальной психологии.

Представьте себе путника, который, внушив себе проснуться к определенному часу, спокойно отдается сну: так же и мы, философы, отдаемся на время душою и телом болезни, как только допустим, что мы начинаем заболеть, – и равнодушно закрываем глаза на все, что находится перед нами. И как путник знает, что нечто не спит, а отсчитывает часы и разбудит его, так и мы уверены, что решительный момент найдет нас бодрствующими, что нечто тогда выдвинется вперед и застанет наш дух на работе, будет ли то слабость, регресс, покорность, ожесточение, помрачение или как еще там иначе называются все те болезненные состояния духа, против которых в моменты здоровья выступает гордость (ведь и в старинных немецких стихах певали: «самыми гордыми существами на земле будут гордый дух, павлин да конь»). И после такого самовопрошания, самоиспытания человек глубже проникает во все, что до сих пор входило в область его философского мышления: он лучше, чем это было раньше, угадывает все произвольные отклонения, закоулки, остановки и солнечные места мысли, куда страдающий мыслитель попадал просто, как страдающая личность; он теперь уже знает, куда больное тело и его потребности гонят, толкают, заманивают его дух, – на солнце, к покою, кротости, терпению, излечению, утехе в каком бы то ни было смысле этого слова. Всякая философия, которая мир ставит выше войны; всякая этика со своими отрицательными определениями понятия о счастье; всякая метафизика и физика, которым известны финал, конечное состояние чего бы то ни было; всякое сильное эстетическое или религиозное стремление к чему-то постороннему, лежащему по ту сторону, вне, свыше – дает нам право задать вопрос, не было ли болезненным состоянием все то, что вдохновляло философа? Бессознательное замаскирование физиологических потребностей, которые у нас прячутся под покровом Объективного, Идеального, Чисто духовного, доходит до крайних пределов, – и я часто задавал себе вопрос, не представляла ли, говоря вообще, вся философия до настоящего времени просто изъяснение и непонимание потребностей тела. За самыми ценными из тех суждений, которые намечают ход истории мысли, кроется непонимание физических свойств нашего тела, по отношению ли к индивиду, сословию или даже целой расе. И все эти смелые, безумные выходки метафизики, а в особенности все ее ответы на вопрос о ценности бытия, следовало бы считать симптомом известных телесных состояний; и если все эти положительные и отрицательные суждения о мире с научной точки зрения и не имеют никакого значения, то во всяком случае для историка и психолога они являются весьма ценными намеками, как сказано, в качестве



симптома, указывающего на удачи и неудачи нашего тела, на те избытки, силу, самовластие, которые ему в истории выпадают на долю, или же на те препятствия, утомление и оскудение, которые гнетут его, на предчувствие близкого конца и истощение воли.

Я всегда ждал, что тот истинный врачеватель – философ, который найдет радикальное средство для всех народов, времен, рас, для всего человечества, – будет иметь достаточно мужества, чтобы выставить мое подозрение всем на вид и отважиться провозгласить такое положение: во всех философских системах в настоящее время речь идет не об «истине», а о чем-то совершенно ином, напр., о здоровье, будущности, росте, силе, жизни...

## 3

Вы уже догадываетесь, что я не мог быть неблагодарным к тому тяжелому периоду хилости, все преимущества которого и поныне еще не вполне мною исчерпаны; я не мог чувствовать к нему неблагодарности, когда достаточно ясно осознал, какое преимущество представляет мое обильное всякими переменами здоровье перед людьми, обладающими дюжим духом. Философ, который был много раз здоровым и выздоравливает все снова и снова, прошел в то же время столько же и философских систем; он только придает каждый раз своему состоянию известную духовную форму и отдаляется от него на известное духовное расстояние. Вот искусство такой трансфигурации и есть именно философия. И мы, философы, далеко не так свободно отделяем душу от тела, как делает это толпа, но еще меньше остается нам свободы, когда нам приходится отделять душу от духа. Ведь мы не лягушек размышляющих представляем собою; ведь мы являемся не каким-нибудь аппаратом с холодными внутренностями, который объективно регистрирует окружающие его явления. Ведь мы навсегда обречены из глубины страдания производить на свет свои мысли и с материнской заботливостью отдавать им всю свою кровь, сердце, огонь, страсть, страдание, совесть, судьбу. Жить для нас значит превращать в свет и пламя все, чем мы обладаем; такой же участи мы подвергаем и то, что нам встречается на пути. И вот относительно болезни мне сильно хочется задать вопрос: да разве, говоря вообще, она будет излишней? Ведь только сильная боль является последней освободительницей духа, ибо только она одна умеет дать то великое истолкование, которое из каждого U делает X, настоящий, правильный X, предпоследнюю букву алфавита.

...Только великая боль, та затяжная боль, во время которой мы сгораем, как на костре, заставляет нас, философов, спуститься на самую глубину и отстранить от себя всякое доверие, всякое добродушие, снять всякое покрывало, отказаться от всякой снисходительности, от всего серединного, – одним словом, ото всего, в чем раньше мы, быть может, полагали все наше человеческое достоинство. Я сомневаюсь, чтобы такая боль делала человека лучшим, чем он был прежде; – но я знаю, что она делает его более глубоким. Научимся ли мы противопоставлять ей нашу гордость, наше издевательство, всю силу нашей воли и будем похожи на индейца, который при самых страшных мучениях отвечает своему мучителю злобными выходками; или же перед лицом этого страдания обратимся к тому небытию Востока – нирване, – к той немой, неподвижной глухой покорности, самозабвению, саморастворению: – все равно из такого продолжительного и опасного господства над самим собою выходишь совершенно новым человеком, у которого несколько лишних вопросительных знаков, который стремится глубже, строже, упорнее, злее и спокойнее ставить вопросы, чем это делалось раньше. В том и заключается доверие к жизни, что сама жизнь стала проблемой. – И нельзя поверить, чтобы человек при этом неизбежно становился унылым и мрачным! Ведь возможна еще даже любовь к жизни, но только любите вы эту жизнь теперь по-иному. Вы любите ее так, как любите женщину, возбуждающую у вас к себе подозрение... Но та прелесть, которую представляют все эти проблемы, та радость, которую открывают все эти X, слишком велика у таких одухотворенных и воодушевленных людей, и это радостное настроение ярким пламенем поднимается постоянно над всеми требованиями, которые поставлены проблемами, над всеми опасностями, которые выдвигаются необеспеченностью положения, даже над тою ревностью, которую ощущает в себе любовник. Мы познаем тогда новое счастье.

## 4

Не забудем однако указать на самое существенное: из этого омута, из этого тяжелого состояния хилости и дряблости, из этого тяжелого и болезненного подозрения человек выходит перерожденным: с него теперь как бы снята кожа, он становится восприимчивее ко всякому соприкосновению и злее, к чувству радости он проявляет более тонкий вкус, язык его сделался нежнее для всего хорошего, в своей радости он приобретает вторую, еще более опасную невинность, – одним словом, он стал в одно и то же время и наивнее, и в сто раз хитрее, чем был когда бы то ни было раньше. И как противны становятся ему те грубые, бездушные, серенькие наслаждения наших ликующих «образованных», богатых и правящих классов. С какою злостью прислушиваемся мы теперь к той громадной ярмарочной суете, среди которой «образованный человек» и крупные городские центры настоящего времени позволяют принуждать себя к «духовным наслаждениям» при помощи произведений искусства, книг и музыки и при благосклонном содействии спиртных напитков! Как болезненно действуют на наш слух эти театральные выкрики страдания; сколь чуждой становится нашему чувству вся эта романтическая суматоха и путаница чувств, которую так любит образованная чернь, когда втягивает в себя возвышенное, приподнятое, напыщенное! Нет, если нам и в здоровом состоянии нужно какое-нибудь искусство, то это будет уже совершенно иное искусство – это будет насмешливое, легкое, подвижное, божественно спокойное, божественно изящное искусство, которое ярким пламенем запыхает на прояснившемся небе! Искусство прежде всего для служителей его и только для его служителей! А затем мы даже лучше художников знаем, что для этого необходимо радостное чувство, радостное чувство во всем. И, как художник, я хотел бы доказать это. Есть вещи, которые мы, люди разумеющие, слишком хорошо знаем: о, если бы мы научились теперь, подобно служителям искусства, забывать и ничего не ведать! И в будущем вы едва ли снова встретите нас на пути тех египетских юношей, которые ночью нарушают в храме его торжественную и таинственную обстановку: обнимают статуи, раскрывают, обнажают и выставляют на свет все, что с полным основанием было скрыто. Нет, у нас отбило охоту к таким приёмам, мы знаем, что это дурной вкус, мы не хотим гнаться во что бы то ни стало за истиной, у нас уж нет такого юношеского легкомыслия в любви к истине: для этого мы уже слишком опытни, слишком серьезны, слишком радостны, слишком глубоки и слишком часто для этого мы обжигались... Мы уже более не верим, чтобы истина все-таки оставалась истиной даже после того, как мы снимем с нее покрывало; мы достаточно пожили, чтобы верить в это. Теперь уже в силу приличия мы не стремимся видеть все обнаженным, непременно всюду присутствовать, все понимать и «знать». Иногда лучше с уважением относиться к той стыдливости, с которой природа прячется за загадками и пестрой неизвестностью. Быть может, истина и есть та женщина, которая не без причины не показывает своих оснований.

Уже не *Vaubo* ли имя ее по-гречески?.. О, греки эти! Они умели жить: для этого надо было храбро оставаться на поверхности, в изгибах, на самом верху, боготворить мир, призраков, верить в формы, тоны, в слова, в целый Олимп призраков! Греки эти, несмотря на всю свою глубину, были людьми поверхностными. А разве не к тому же приходим мы, смельчаки, которые отважно взобрались на самые высокие и на самые опасные вершины современной мысли и, оглянувшись вокруг себя, посмотрели вниз? Разве мы в этом отношении не те же греки? Не те же поклонники формы, тонов и слова? а потому и не те же служители искусства?

*Рута возле Генуи, осень 1886 г.*



## **Шутка, лукавство и месть (пролог в немецких рифмах)**

### Приглашение

Рискните вы, вкушающие, отведать моей пищи!  
И уже на следующий день вы найдете ее более  
приятной.  
А через день еще будете считать ее вкусным блюдом!  
И если вы тогда пожелаете еще и еще,  
То ведь старые мои произведения  
Вдохновляют меня на новый труд.

### МОЕ СЧАСТЬЕ

С тех пор, как в поисках блуждать я утомился,  
Конец всему, приискивать я научился.  
С тех пор, как ветер противный я встречаю,  
По всем ветрам свой парус распускаю.

### НЕУСТРАШИМЫЙ

Глубоко рой там, где пришлось тебе стоять!  
Ведь в недрах клад!  
И темным людям предоставь кричать:  
Внутри земли повсюду ад!

### РАЗГОВОР

А. Был я болен? а теперь здоров?  
Кто ж лечил тогда меня!  
Как забыл все это я!

Б. Верю я, что ныне, друг, ты излечился:  
Ведь здоров лишь тот, кто забыть все научился!

### ДОБРОДЕТЕЛЬНЫМ

Доблестям нашим должно двигаться так же легко,  
Как Гомера стихи совершают движенья свои.

### БЛАГОРАЗУМИЕ

Средь поля ровного не стой  
И ввысь далеко не стремись!  
Ведь с половинной высоты  
Прекрасней выглядит наш мир.

## VADEMECUM – VADETECUM

Мой нрав и речь моя влекут тебя ко мне,  
И ты уже готов идти, и ты уже идешь за мной?  
Но нет! останься верен сам себе и следуй  
только за самим собой;  
Тогда, хотя и медленно, но все же ты пойдешь  
за мной.

## ПРИ ТРЕТЬЕЙ СМЕНЕ КОЖИ

Уж кожа у меня коробится и рвется,  
И снова требует желудок пищи.  
Земли так много потребляет он.  
И вот между камней и трав зигзагами  
Ползу я, голодом томимая,  
Чтобы ту же пищу – землю пожирать,  
Которую всегда я раньше ела.

## МОИ РОЗЫ

Да! в счастье своем мне хочется  
Сделать счастливым каждого!  
Хотите и вы сорвать мои розы?  
Стан свой нагнуть вам придется и скрыться  
Между скалой и стеною терновника дикого,  
В сердце своем затаивши желание жадное!  
Ведь счастье мое любит злую насмешку!  
Ведь счастье мое любит всякие козни!  
Хотите ли вы сорвать мои розы?

## ПРЕЗИРАЮЩИЙ

Мое презрение к миру и людям вы видите  
Лишь в том, что ко многому всегда я равнодушен был.  
Но равнодушием таким ведь также обладает тот,  
Кто полным кубком пьет, —  
Так будьте вы и о вине того же мненья.

## СЛОВАМИ ПОСЛОВИЦЫ

Кроткий и резкий, грубый и нежный,  
Друг и чужак, грязный и чистый – вот я каков.  
Мудрый и глупый ко мне на свиданье спешат. —  
Я же хотел бы быть сразу  
Голубем, змеем и кабаном.

## ЛЮБИТЕЛЮ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Если ты не хочешь глаз и чувство утомить,  
То за ярким солнцем должен ты в тени следовать.

### ТАНЦОРУ

Рай – гладкий лед лишь для того,  
Кто танцует хорошо.

### МУЖЕСТВЕННЫЙ

Лучше выточить из целого куска вражду,  
Чем по частичкам склеить дружбу.

### РЖАВЧИНА

Нужна и ржавчина бывает иногда:  
Ведь мало острым быть еще всегда,  
«Он слишком юн», гласит молва тогда.

### ВВЕРХ

Если хочешь до верха горы ты пробраться,  
То, не думая, должен лишь этою целью задаться.

### ИЗРЕЧЕНИЕ ВЛАСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Плач и слезы ты оставь!  
Брать себе все предоставь!

### СКУДНЫЕ ДУХОМ

Мне ненавистны убогие духом:  
Ведь нет в них ни добра, ни худа.

### НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ ОБОЛЬСТИТЕЛЬ

Слово пустое в пространстве он бросил себе на забаву,  
Но в женское сердце влило оно тогда же отраву.

### К СВЕДЕНИЮ

Ведь легче боль двойную перенести, чем раз страдать?  
Так не решишься ль ты ее принять?

### ПРОТИВ ТЩЕСЛАВИЯ

Не будь надменным: ничтожная насмешка  
– Поставит тебя на место.

## МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

«Ты женщину, которая тебе пришлась по сердцу,  
себе похить».  
Так думает мужчина, а женщина не грабит, а крадет.

## ОБЪЯСНЕНИЕ

Чтоб объяснить себе, мне надо внутрь уйти,  
А потому я не в силах быть комментатором своим.  
Но всякий, кто стоит на собственном своем пути,  
Выносит и меня с собой на Божий свет.

## ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПЕССИМИСТОВ

Увы, плачешь, друг, что к жизни вкус потерял?  
Не старые ль капризы это?  
Я слышу: ты клеветешь, поднимаешь шум,  
плюешься? —  
Терпение истощилось у меня!  
Последуй же совету моему. Решись скорее  
И проглоти ты жабу пожирнее.  
От диспепсии вылечишь тогда себя.

## ПРОСЬБА

Знакомо чувство мне иных людей,  
А самого себя не знаю я.  
Хоть очень близок глаз ко мне,  
Но я не то, что вижу или видел.  
А если бы захотел я оказать себе услугу лучшую,  
То должен был бы сесть, как можно дальше от себя.  
Хотя не так далеко, как враг мой,  
Но все же далеко сидит ближайший друг! —  
А между ним и мною середина!  
Ну, догадайтесь же, о чем прошу я вас?

## МОЯ ТВЕРДОСТЬ

Я должен прочь уйти за сто ступеней,  
Я должен громко звать вперед:  
«Ты тверд, а разве ты из камня?»  
Я должен прочь уйти за сто ступеней,  
И в то же время никто ступенью для меня  
не мог бы быть.

## ПУТНИК



Нет больше тропы! Вкруг бездны зияют!  
И звуки жизни мертвой тишины теперь  
уж не смущают!  
Ведь ты ж того хотел! Ведь доброй волей  
с проторенной тропы ушел ты в горы!  
Ну, что же, путник? Пусть будет ясно на душе,  
и холодно бросай вокруг ты взоры!  
Потерян верный путь!  
И веришь сам, опасности не избегнуть!

#### УТЕШЕНИЕ НАЧИНАЮЩЕМУ

Посмотрите на беспомощное дитя,  
Когда оно попадет со своими искривленными  
ножками в стадо хрюкающих свиней!  
Ему остается плакать и только плакать, —  
И думается вам: неужели оно научится  
когда-нибудь стоять и ходить?  
Не бойся, вскоре увидишь ты его танцующим!  
Сначала оно научится стоять на двух ногах,  
А потом будет ходить и на голове.

#### ЭГОИЗМ ЗВЕЗД

Если б я не вращалась непрерывно  
По замкнутой орбите вокруг себя,  
То как бы следовать могла я  
За жарким солнцем и не сгореть?

#### БЛИЖНИЙ

Я не люблю, чтобы возле меня находился  
мой ближний:  
Пусть он уходит себе в высь и даль!  
Иначе как мог бы он стать моей путеводной звездой?

#### ЗАМАСКИРОВАННОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ

Чтобы не угнетать нас своим счастьем,  
Ты облекся в бесовское одеяние  
И отпускаешь адские остроты.  
Но все напрасно:  
Во взоре твоём так и светится благочестие.

#### РАБ

А. Зачем в смущении он стал?  
Что слух его теперь смутило?  
Что ухо чуткое там уловило?

Зачем так духом он упал?

Б. Кто раз носил ярмо оков,  
Тот всюду слышит лязг цепей!

## ОДИНОКИЙ

Мне ненавистно одинаково вести людей  
и следовать за кем-нибудь.  
Повиноваться? – Нет. Но также и не править!  
Кто не внушает ужаса себе, тот и другим не страшен:  
Ведь только страхом можно стать вожаком толпы.  
Но даже и собой руководить противно мне!  
Хотелось бы, подобно диким зверям или вольным  
детям моря,  
Забиться хоть на миг один,  
Мечтам своим отдаться на свободе,  
И прихорашиваться лишь только для себя.

## SENECA ET NOS GENUS OMNE

Пишет и пишет свой невыносимый мудрый  
вздор (Larifari),  
Как будто бы и надо было *primum scribere*,  
*deinde philosophari*.

## ЛЕД

Да! иногда приготавливаю лед я:  
Пищеваренью помогает он.  
И если бы нужно было вам усвоить много,  
То как бы полюбили вы мой лед!

## ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

Не безопасно путнику теперь быть в той стране,  
И если дух есть у тебя, пусть он удвоит осторожность.  
Тебя привлекают и любят до тех пор, пока  
не растерзают.  
Здесь рой духов, а духа нет!

## ЛЕТОМ

Будем ли в поте лица вкушать мы свой хлеб?  
Но по мнению мудрых врачей от того он  
не будет вкуснее.  
Вот переливает своими огнями Сириус,  
куда он манит?  
В поте лица своего будем пить мы вино!

## БЕЗ ЗАВИСТИ

Вы почитаете его за то, что он ни к кому  
не питает чувства зависти?  
Но он ведь не обращает ни малейшего внимания  
на все ваши почести.

## ОСНОВАНИЕ ВСЕГО ТОНЧАЙШЕГО

Лучше на цыпочках, чем на четырех!  
Лучше в замочную скважину, чем в открытые двери!

## ДОБРЫЙ СОВЕТ

Мечтою ты прикован к славе?  
Тогда с почтением прими такое ты ученье,  
Которое дает тебе возможность принести  
от чести отречение.

## ИЩУЩЕМУ ОСНОВ

Так я исследователь? О, пощади ты это слово!  
Я просто тяжестью известной обладаю  
И вот все опускаюсь ниже, ниже  
И, наконец, иду на дно.

## НАВЕКИ

«Я потому иду сегодня, что так мне лучше», —  
Вот то, что думает идущий в вечность.  
А если люди говорят: «идет он слишком рано,  
слишком поздно»,  
То толки эти не трогают его нисколько.

## РАССУЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ УТОМЛЕННЫХ

Все слабые, вялые люди обращаются к солнцу  
со своими упреками.  
Тень – вот что ценят они в деревьях!

## ВНИЗ

«Смотрите: вниз скользит он, падает теперь»,  
злорадствуете вы:  
А он на самом деле лишь с высоты своей  
нисходит к вам!  
Ведь счастье свое считает он безмерным  
и тяжелым,

И яркий свет его идет за вашей тьмой.

#### ПРОТИВ ЗАКОНОВ

Я стал носить часы,  
И вот теперь не нужно мне  
Следить за бегом звезд,  
Движеньем солнца, теней и криком петуха.  
И то, что возвещает время мне,  
Само отныне глухо, слепо, немо.  
И механизм его с своим тик-так  
Заставил замолчать природу.

#### ИЗРЕЧЕНИЕ МУДРЕЦА

Я чужд толпе, но в то же время я полезен ей:  
То солнце ясное я вызываю, то тучу навожу —  
Но все над эту ж толпой!

#### ПОТЕРЯННУЮ ГОЛОВУ

У ней и дух теперь, но как она его нашла?  
Из-за нее муж в юности свой разум потерял.  
А голова его до той поры богата мыслями была:  
Нечистому она теперь досталась... О! нет! нет!  
женщине!

#### БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ

«О, если бы вдруг все ключи потерялись,  
И ко всем замкам подошла одна отмычка!»  
Думает так постоянно  
Тот, кто сам является отмычкой.

#### ПИСАТЬ НОГОЙ

Не рукой только пишу я,  
И нога постоянно хочет быть вместе с писателем.  
Твердо, свободно и мужественно бежит она у меня  
То по полю, то по бумаге.

#### ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. КНИГА

Уныл и робок ты, пока твой взор направлен вспять,  
А сердце верует в грядущее, где ищешь ты себе  
опоры:  
О, птица! причислить ли тебя к орлам?  
Иль ты любимица Минервы – филин?

## ЧИТАТЕЛЮ

Желудка и зубов здоровых я тебе желаю!  
И, если сладишь только ты с моею книгой,  
То и со мной, мой друг, поладишь!

## ХУДОЖНИК-РЕАЛИСТ

«Природе верен будь – вот цель твоя».  
Но как задачу эту выполнить ему?  
В картину ведь природа не уйдет! —  
Ведь беспределен самый маленький кусочек мира!  
В конце концов, под кисть его лишь то ложится,  
что *нравится* ему,  
А нравится ему лишь то, что *может* он изобразить!

## РАЗБОРЧИВЫЙ ВКУС

Если бы мне предоставили свободный выбор,  
То я с удовольствием устроился бы в раю,  
Но еще с большим удовольствием – у себя  
перед дверями!

## ГОРБАТЫЙ НОС

Твой нос глядит задорно  
Вокруг себя и ноздри раздувает.  
Вот чем ты, носорог без рога,  
Мой гордый человечек, и привлекаешь взгляды  
всех к себе!  
И вечно встретите вы вместе  
Горбатый нос и гордость откровенную.

## СКРИПИТ ПЕРО

Скрипит перо: ах, черт возьми!  
Так неужели ж навеки осужден я скрипеть пером?  
Тогда схватил чернильницу отважно я  
И начал мазать толстыми потоками чернил,  
И как же полно, широко идет работа у меня!  
Как удастся замысел мне всякий!  
Да, правда, ясностью не отличается теперь  
письмо мое.  
Так что же? Ведь кто читает то, что я пишу?

## ВЫСШИЕ ЛЮДИ

Кто вверх идет, – тому и рукоплещут!  
Но кто внимает похвалам, тот вниз идет!

Чтобы остаться там, вверху,  
Ты должен даже к похвале быть равнодушным.

#### ИЗРЕЧЕНИЕ СКЕПТИКА

Почти полжизни прожил ты,  
А стрелка движется вперед, и трепет чувствует  
твой дух!  
Довольно по свету ты побродил;  
Искал и не нашел – так что же медлить?  
Почти полжизни прожил ты,  
Страдал и заблуждался час за часом!  
Чего же ищешь ты еще? Зачем?  
Я к одному стремлюсь – уйти все глубже, глубже!

#### ЕССЕ НОМО

Откуда родом я, – я знаю!  
Ненасытимым пламенем всегда пылаю,  
И пожираю сам себя!  
Все, к чему я прикасаюсь, загорится светом ярким,  
Все ж, покинутое мною, остается пеплом жарким.

#### МОРАЛЬ ЗВЕЗД

Указан путь тебе, звезда.  
И дела нет тебе до мрака!  
Спокойно путь свой совершай  
И горя их не замечай!  
Миров далеких достигает твое сиянье,  
За грех сочтем тебе мы чувство состраданья,  
И «чистоту храни» – вот заповедь тебе.



## Книга первая

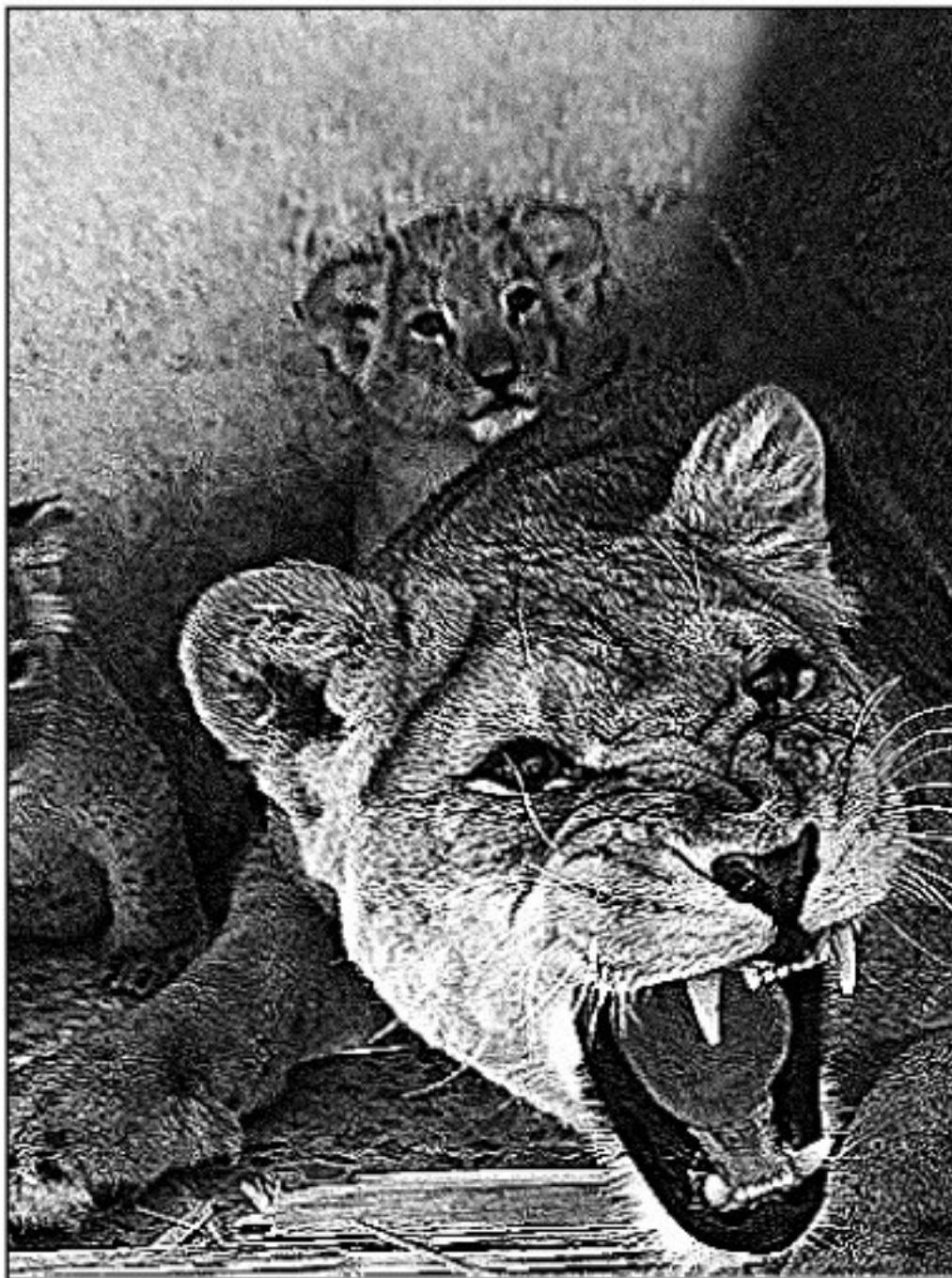
*Учение о цели бытия.* – Бросаю ли я на людей взоры благосклонные или злобные, – мой глаз неизбежно застает их всех и каждого в отдельности за выполнением одной и той же задачи: сделать как можно больше для сохранения рода человеческого. Но берутся они за эту задачу не из чувства любви к этому роду, а лишь потому, что нет у них более древнего, более неутомимого и более непреодолимого инстинкта, как этот инстинкт, – даже более того: самый-то этот инстинкт и представляет сущность нашего вида и содержание жизни нашей толпы. Если мы, следуя обычным близоруким мыслителям, которые не видят перед собой дальше пяти шагов, будем пытаться разделить людей на субъектов вредных и полезных, на добрых и злых, то, напротив, прилагая больший масштаб, глубже вдумываясь в жизнь целого, мы в конце концов начнем относиться с недоверием и к своей осторожности, и к своей классификации. В самом деле, ведь зловреднейший человек, с точки зрения сохранения рода, приносит, быть может, громадную пользу, ибо поддерживает у других, самым фактом своего существования или своими действиями, такие стремления, без которых человечество надолго заснуло бы или совсем обленилось. Ненависть, злорадство, страсть к грабежу и господству и все остальное, что обыкновенно называется злом, служит для той удивительной экономии, – конечно, экономии очень дорогой, расточительной и в общем в высшей степени неразумной, – которая, как это несомненно доказано, до сих пор сохраняла наш род. Да я, признаться, и не знаю, можешь ли ты, мой ближний, проявлять в своей жизни недоброжелательство к роду и таким образом вести себя «неразумно» и «дурно»; ведь все, что так или иначе могло бы нанести вред нашему роду, устранено из жизни, быть может, уже несколько тысячелетий тому назад. Будешь ли ты следовать самым лучшим или самым дурным из своих побуждений, – ты все равно в сущности так или иначе будешь споспешествовать и благодетельствовать человечеству, и только за это люди будут тебя хвалить и над тобой издеваться! Но ты не найдешь такого человека, который сумел бы вполне, как следует насмеяться над твоими лучшими поступками, который дал бы тебе почувствовать безграничную твою скудость так, как того требует действительное положение вещей! Насмеяться над самим собой так, как следовало бы это сделать, посмеяться так, чтобы смех выходил из глубины самой истины, – не умеют и лучшие из нас, ибо не обладают достаточно сильным чувством правды, а наиболее одаренные из нас недостаточно для этого гениальны! Быть может, и для смеха придет еще свое время! Тогда человечество воплотит положение: «род – всё, индивид – ничто», и каждому будет во всякое время открыт доступ к этой последней свободе, к этой полной безответности. Быть может, только тогда смех вступит в союз с мудростью; быть может, только тогда придет время для «веселой науки». Пока же дело обстоит иначе, пока комедия бытия еще не «осознала» себя, пока еще остается полный простор для трагедии, морали и религии. Что же обозначает все новое и новое появление основателей моральных и религиозных систем, вожаков в борьбе за разные нравственные сокровища, руководителей в деле угрызения совести и религиозных войн? Что значат эти герои на этой сцене? Ведь до сих пор были только герои ее, а все остальное, – иной раз явно и непосредственно, служило им то в качестве машин и кулис, то в роли поверенных и лакеев. (Так напр., поэты всегда были лакеями какой-нибудь морали.) – Само собою понятно, что трагики эти работают в интересах рода, хотя сами они могут считать себя посланниками Божиими, а на свой труд смотреть, как на дело Божие. Они также способствуют успеху жизни человеческого рода, *ибо укрепляют веру в эту жизнь.* «Жить стоит, – так взывает каждый из них, – жизнь сама по себе представляет нечто ценное, жизнь скрывает нечто и за собою, и под собой, внимайте!» И вот то самое стремление, которое с одинаковым напряжением существует и у высших людей, и у людей самых заурядных, – стремление к сохранению рода, прорывается время от времени, как что-то разумное или под видом какого-нибудь страдания духа; ему подыскивают тогда бле-

стящие обоснования и совершенно забывают, что в сущности-то здесь приходится иметь дело со стремлением, инстинктом, безумием, отсутствием всякого основания. *Ведь человек должен любить жизнь. Ведь человек должен* содействовать и своему преуспеянию, и преуспеянию своих ближних, как бы вы там ни называли все эти обязанности, и какие бы ни выдумали им еще названия в будущем! И вот процессы, совершающиеся в силу известной необходимости и без всякого отношения к какой бы то ни было цели, отныне являются как бы приуроченными к той или другой цели, и человек готов считать их даже последним требованием разума; – тогда-то выступает проповедник этических начал в роли учителя, трактующего о цели всего сущего; тогда-то он измышляет второе – уже иное – бытие, и, при помощи нового своего приспособления, выуживает это старое, обычное бытие. Да, он отнюдь не хочет заставить нас смеяться над бытием или над нами самими, или хотя бы только над ним; для него существует единица и только единица: она для него является альфой и омегой; в ней кроется какая-то тайна; рода же, суммы, нулей он не признает. Как бы глупы и фантастичны ни были его измышления и оценки, как бы далеко он ни сбился с истинного пути природы и как бы ни ошибался относительно ее условий, – ведь все, существовавшие до настоящего времени, этические учения были настолько неразумными и противоестественными, что человечество с любым из них пошло бы ко дну, если бы дано ему овладеть собой – но всегда, когда на сцену выступал «герой», создавалось нечто новое, какое-то страшное подобие смеха, то глубокое содрогание, которое испытывают многие единицы при мысли: «да, стоит жить; да, я не напрасно живу!» – и вот и самая жизнь, и я, и ты, и мы все оказываемся заинтересованными снова на некоторое время. И нельзя отрицать, что над каждым из этих великих учений о цели бытия царили до сих пор смех, разум и природа: коротенькая трагедия всегда в конце концов переходила в вечную комедию, и «волны безграничного смеха, – говоря языком Эсхила, – бьют, наконец, через величайшего из этих трагиков». Но, несмотря на все благодетельное действие такого смеха, эти вновь и вновь появляющиеся учения о цели бытия кладут свою печать на человеческую природу: у человечества появляется неотступная потребность в подобных учителях и подобных учениях. Человек мало-помалу становится фантастическим животным, которое способно выполнить условия существования лучше, чем всякое другое животное: человек *должен* время от времени верить, что ему известен ответ на вопрос, *зачем* он существует; род его не может возрастать, если в нем не будет проявляться периодически доверия к жизни, уверенности, что *в жизни* существует *разум!* И время от времени человеческий род снова делает торжественное заявление: «да, не все доступно смеху!» И самый осторожный друг человечества согласится: «не только смех и веселая мудрость, но и все трагическое со всем его возвышенным безумием служит необходимым средством для сохранения человеческого рода!» – И так далее! О! понимаете ли вы меня, братья мои? Понимаете ли вы этот новый закон прилива и отлива? Да и нам ведь дано в удел свое лишь время! *Интеллектуальная совесть*. – Я постоянно повторяю один и тот же опыт и все снова и снова чувствую к нему известное предубеждение. Мне не хочется поверить, чтобы можно было ясно доказать, что *у большинства людей интеллектуальная совесть отсутствует*; и часто казалось мне, что человек с притязаниями на нее в самом населенном городе будет чувствовать себя таким же одиноким, как в пустыне. Чуждыми глазами взглянет на тебя всякий и будет продолжать по-прежнему прикидывать встречные явления на своих весах, одно называя добром, другое злом. И ни у кого ведь лицо не покроется краской от стыда, когда обратишь ты внимание на то, что разновесы их не полновесные; никто против тебя не почувствует негодования: разве только посмеются над твоими сомнениями. Я хочу сказать: большинство не находит ничего предосудительного в том, что люди, не отдав себе предварительно ясного отчета относительно последних и самых надежных основ жизни и не позаботившись посмотреть, что кроется за этими основами, – верят в известные положения и, сообразно вере своей, устраивают жизнь, и к такому-то «большинству» принадлежат самые даровитые мужчины и самые благородные женщины. Что значит для меня все добросердечие, чистота



и гений, когда люди, одаренные этими добродетелями, оказываются слабыми в области веры и суждений, когда они не стремятся *всем своим существом к достоверности* и не чувствуют в ней большой нужды, – когда в подобном требовании они не видят признака, отличающего высших людей от низших! У благочестивых лиц я встречал иногда ненависть к разумному и глубоко был им благодарен за это: таким путем, по крайней мере, выходила наружу злая интеллектуальная совесть! Но стоять среди этого *rerum concordia discors*, среди этой изумительной неизвестности и многозначительности бытия, стоять и *не вопрошать*, не дрожать от страстного желания задать вопрос, ни разу не почувствовать ненависти к вопрошающему, а, быть может, даже вяло потешаться над ним, – вот к чему я питаю искреннее презрение и прежде всего ищу этого чувства и у других. В силу какого-то неразумия, я стараюсь убедить себя, что у каждого человека, как человека, должно быть это чувство. И в этом-то проявляется своеобразно моя несправедливость.

*Благородный и заурядный.* Людям заурядным все благородные и великодушные чувства кажутся нецелесообразными, а потому и невероятными; такие люди только глазами хлопают, когда слышат о подобных чувствах, и вам так и кажется, что вот-вот они скажут: «и тут кроется какая-нибудь выгода, всего ведь не углядишь», – они недоверчиво относятся к каждому благородному человеку, как будто бы тот ищет себе выгод на каком-нибудь запретном пути. Если же вам удастся вполне их убедить, что лицу этому чужды какие бы то ни было эгоистические побуждения и преследования каких-либо выгод, то благородство они сочтут одним из видов глупости: они презирают благородного человека в его радостях и издеваются над блеском глаз его. «Как может он радоваться, когда ему грозит убыток, как можно с открытыми глазами искать себе вреда?! Право, благородные аффекты неизменно связываются с какою-то болезнью разума!» Так думают заурядные натуры и с презрением оглядываются вокруг: о, какое ничтожное значение придают они тем радостям, которые извлекает человек заблуждающийся из идеи, постоянно его преследующей. Заурядные натуры тем именно и отмечены, что в глазах у них неподвижно стоит забота о личной выгоде, и забота эта заглушает у них все, даже самые сильные побуждения. Удержаться от нецелесообразного поступка, на который толкает какой-нибудь аффект – вот в чем выражается их мудрость и чувство собственного достоинства. По сравнению с ними, высшие натуры являются в то же время и натурами *наиболее неразумными*. На самом деле человек благородный, великодушный, приносящий себя в жертву, находится действительно под властью своих порывов, и в самые лучшие моменты его жизни разум его *молчит*. Когда животное с опасностью для своей жизни защищает детенышей или, во время прилива страсти, идет на смерть из-за самки, то оно ведь не думает ни об опасности, ни о смерти и всецело находится под влиянием страстной любви к своему потомству или к самке и страха потерять предмет своей страсти: оно становится глупее, чем оно в действительности, точно так же, как это бывает с людьми великодушными и благородными. Симпатии и антипатии у них проявляют такую силу, что интеллекту приходится или молчать или подчиняться страстям. Сердце у них вступает в голову, и тогда-то заходит речь о страсти (кое-где мы встречаем также обратное положение и как бы «страдание навыворот»; так, напр., у Фонтенеля одно из действующих лиц кладет руку на сердце со словами: «и там, мой дорогой, тоже мозг»).



Заурядная натура за то и ненавидит человека благородного, что у него в страсти чувствуется отсутствие разума или какой-то извращенный ум; презрение это особенно усиливается в тех случаях, когда страсть связывается с такими предметами, ценность которых обыкновенному человеку кажется совершенно фантастической и произвольной. Он гневается на всякого, кто делает себя слугою своего брюха, но понимает прелесть той жизни, которая обращает человека в тирана; зато он совершенно не понимает, как можно, напр., рисковать своим здоровьем и честью из-за страсти к познанию. Вкус высших натур направляется на исключения, на предметы, которые обыкновенно никого не волнуют и считаются лишенными всякой привлекательности; высшие натуры обладают особым масштабом ценностей. При этом они не замечают, что масштаб их, благодаря идиосинкразии их вкуса, представляет собою нечто особенное, а считают свою оценку явлений такую же, как и оценка у других людей; благодаря этому, они проявляют постоянно непонимание, непрактичность. Очень редко случается, чтобы высшая натура

сумела сохранить у себя настолько рассудка, чтобы понять обычного человека, как такового, и, сообразно с этим, регулировать свои отношения к нему; в большинстве случаев люди высшего пошиба думают, что их страсти – это те самые страсти, которые в скрытом состоянии можно встретить у каждого, и вера эта является непосредственным источником их горячности и красноречия. И вот, когда такие исключительные люди не чувствуют своего исключительного положения, то как могут быть поняты ими натуры обыкновенные, как могут быть оценены ими их правила поведения?! – Все это заставляет их говорить о глупости, о нецелесообразности и сумасбродстве человечества; они изумляются, как глупо течет жизнь мира и не могут понять, почему она не хочет сознать «нужд своих». – Вот в чем заключается вечная несправедливость со стороны людей благородных.

*Сохранение рода человеческого.* – Своим движением вперед человечество обязано людям, обладающим наиболее сильным и наиболее злым духом: они все снова и снова зажигали потухающие страсти – ведь всякое благоустроенное общество усыпляет страсти, – они пробуждали постоянно чувство сравнения, противоречия, желания чего-нибудь нового, рискованного, неиспробованного, они принуждали людей одни мнения противопоставлять другим мнениям, одни образцы – другим образцам. Чаще всего они действуют с оружием в руках, ниспровергают межевые знаки, нарушают чувство благочестия, но прибегают также и к религии, и к морали! У каждого учителя, у каждого проповедника нового учения вы найдете ту самую «злобу», – которая несет завоевателю бесславие, как только получит более деликатное выражение, а не будет немедленно приводить мускулы в движение! Но новое всегда и при всяких обстоятельствах является и *злым*, как нечто такое, что стремится проявить насилие, ниспровергнуть пограничные знаки и древнее благочестие; ведь добрым считается только старое! Добрыми людьми в каждое время называют тех, которые глубоко закапывают древние мысли и взращивают от них плоды. Это – землешапки духа. Но земля понемногу истощается и вот снова чувствуется потребность в плуге зла. – В настоящее время существует одно основное заблуждение, которое особенным уважением пользовалось в Англии: оно учит, что наши суждения о «добре» и «зле» определяются нашим опытом о «целесообразном» и «нецелесообразном», что добром называют все, служащее для сохранения рода, а злом – все, для него вредное. В действительности же дурные стремления столь же целесообразны, столь же служат для сохранения рода и столь же необходимы, как и стремления добрые: – только функции их различны.

*Безусловные обязанности.* – Все люди, которые не могут в своей деятельности обходиться без сильных слов и возгласов, красноречивых жестов и положений, все эти революционеры-политики, социалисты, проповедники различных покаянных христианских и нехристианских учений, которые в действительности не заслужили и половины своих успехов; – все они говорят об обязанностях, и именно обязанностях с характером безусловности. Они прекрасно знают, что без обращения к таким обязанностям весь их пафос потерял бы всякое право на существование! И вот тут-то они или набрасываются на философию морали, которая выставляет те или другие категорические императивы, или воспринимают значительную часть религиозных убеждений, как это сделал Мадзини. Желая приобрести от других безусловное доверие, они и сами прежде всего должны безусловно поверить самим себе на основании какой-нибудь последней, неоспоримой и самой по себе достаточно возвышенной заповеди, служителями и орудиями которой они могли бы себя чувствовать и выдавать. Здесь мы встречаем также самых естественных и, по большей части, влиятельных противников всякого морального разъяснения и сомнения: но таковых немного. Напротив, повсюду, где выгода заставляет нас подчиняться, – хотя бы наше доброе имя и чувство чести, по-видимому, предписывали нам обратное, – существует обширный класс таких противников. Кто в качестве потомка напр., какой-нибудь старинной гордой фамилии, считает для себя унижительным даже подумать о том, что он является орудием какого-нибудь князя или партии и секты, или хотя бы какой-нибудь денежной силы, но тем не менее хочет или должен быть таким орудием, тот, чтобы

оправдаться перед собой и другими, должен всегда иметь на устах разные патетические принципы: принципы безусловного долженствования, которым люди без стыда могли бы подчиниться и признать свое подчинение. Всякая более тонкая форма раболепства, связанная с категорическим императивом, является смертным врагом для тех, кто хочет придать обязанности характер безусловности, как этого требует от них внешняя благопристойность, да и не одна только благопристойность.

*Потеря достоинства.* – Наш мыслительный процесс в настоящее время совершенно потерял всю ту важность, которой он обладал раньше; над всяким церемониалом и торжественными жестами у человека, обдумывающего что-нибудь, в настоящее время смеются, и мудреца старинного образца сочли бы человеком невыносимым. Мы думаем быстро и походя и отдаемся часто самым серьезным мыслям и во время ходьбы, и между делами всякого рода; мы мало подготовляемся, даже мало отдыхаем, – точно мы носим у себя в голове безостановочно катящуюся машину, которая, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах, все еще продолжает работать. Бывало, чуть показалось кому, что у него навертывается мысль, – тогда это было редким исключением! – что захотелось ему быть мудрее и отдать себя во власть какой-нибудь думе, – тотчас же лицу придавалось такое выражение, как будто человек собирался на молитву, всякое движение прекращалось, и наш мыслитель простаивал неподвижно, хотя бы даже на улице, в течение целых часов, пока мысль «приходила к нему»... на одной или на двух ногах. Вот то была обстановка, «достойная положения вещей»!

*Несколько слов к трудолюбивым людям.* – Кто пожелал бы теперь заняться изучением моральных вопросов, для того открылось бы необозримое поле работы. Такому исследователю пришлось бы остановиться мыслью над каждой из страстей в отдельности, проследить за изменениями ее во времени и у различных народов, а также у крупных и мелких индивидуумов; он должен был бы показать, насколько разумными и ценными люди считают эти страсти и какое освещение им придают. До сих пор все, от чего бытие заимствует свою окраску, не имело еще своей истории: в самом деле, разве есть у нас история любви, стяжания, нужды, совести, благочестия, жестокости? У нас нет даже полной сравнительной истории права или хотя бы только одного наказания. Разве исследовал кто-нибудь различные подразделения дня, последовательную смену отдыха, празднеств и покоя? Разве знает кто, какое моральное воздействие оказывают на нас наши средства пропитания? Разве располагаем мы философией питания? Неутихающий шум, поднятый в споре за и против вегетарианства, доказывает, что подобной философии у нас не существует!

Пытался ли кто-нибудь проследить за историей общежитий, напр., монастырей? Существует ли у нас диалектика брака и дружбы? Есть ли мыслители, которые занимались бы вопросами нравственности ученых, торговцев, художников, ремесленников? Обо всем этом следует подумать и подумать много. Разве до конца исчерпано, путем исследования, все то, что люди считают «условиями своего существования» и все разумное, все страсти и суеверия, которые, по их мнению, связаны с этими условиями? Если бы кто задумал проследить только то различие в росте, которое проявляется и может проявляться у человеческих стремлений в различных моральных климатах, то и в таком случае самый прилежный из нас нашел бы себе достаточно работы: потребовались бы поколения планомерно и согласно работающих ученых для того, чтобы установить в этой области надлежащую точку зрения и собрать материал. То же самое останется в силе и для того, кто пожелал бы обосновать различия, которые представляют моральные климаты (*почему* в одном месте блистает одно солнце моральных суждений и оценки, – в другом – другое?). Совершенно особая работа выпадает на долю тому, кто будет устанавливать ошибочность всех подобных оснований и сущность тех моральных суждений, которые высказывались до настоящего времени. Если мы допустим, что все эти работы уже выполнены, то на первый план тогда выступит священнейший из всех вопросов: в состоянии ли будет наука *определить* цели нашего поведения, после того, как она докажет нам свою способ-

ность отнимать у нас эти цели и уничтожать их, – и тогда человечеству откроется такой широкий простор для всякого рода экспериментирования, тогда будут перепробованы все виды героизма, тогда наступит век опытов, которые могут затмить все подвиги самопожертвования, известные нашей истории. До сих пор наука еще не возвела своих циклопических построек, но и для этого наступит свое время.

*Бессознательные добродетели.* – Все свойства человека, наличие которых он признает у себя, и которые он считает очевидными для окружающих, подчиняются совершенно иным законам развития, чем те свойства, о которых ему самому неизвестно, которых он почти не подозревает в себе и которые, благодаря своей нежности, скрываются от взоров даже наиболее тонких наблюдателей и умеют прятаться как бы за пустым пространством. Совершенно так же дело обстоит с тонкой скульптурой на чешуях у рептилий: ошибочно было бы подозревать, что эта скульптура служит украшением для этих животных или каким-нибудь орудием; – в самом деле, ведь открыть их можно только при помощи микроскопа или такого острого зрения, каким не обладают животные, для которых могли бы быть предназначены эти наряды или это оружие! Наши видимые моральные качества, а именно те качества, в которые мы явно уверовали, идут своим путем, – а наши невидимые, хотя бы и одноименные качества, которые, с точки зрения других людей, не служат ни украшением, ни оружием, идут также своим путем, и обладают такими линиями, таким изяществом и таким строением, которое могло бы, пожалуй, доставить удовольствие лишь какому-нибудь божеству, одаренному необычайным микроскопом. Мы, напр., обладаем прилежанием, честолюбием и проницательностью: всем известны эти наши качества, но, кроме того, у нас, по всей вероятности, имеется еще прилежание, еще честолюбие, еще проницательность, но для этих чешуек наших не найдено еще микроскопа! – И тут-то вот сторонники инстинктивной морали скажут: «браво! он считает, по крайней мере, бессознательную добродетель возможной, – с нас и этого довольно!» – Ох вы, невзыскательные люди!

*Наши взрывы.* – Еще на ранних ступенях своего развития человечество усвоило бесчисленное множество различных свойств и способностей, но усвоило оно их так слабо, в таком эмбриональном состоянии, что о них никто даже и не подозревает. И вот эти-то слабо усвоенные способности, спустя много времени, – быть может, несколько столетий, вдруг прорываются на свет Божий, и тогда проявляют силу и зрелость. Иногда может показаться, что некоторые века совершенно лишены того или другого таланта, той или другой добродетели: но подождите только внуков или детей внуков, – если только время позволяет ждать, – и они вынесут на свет внутреннее содержание своих дедов, то внутреннее содержание, о котором сами деды ничего не знали. Часто уже сын является предателем своего отца, который и сам начинает понимать себя лучше с тех пор, как стал отцом. Внутри у нас скрыты целые плантации и сады; или, прибегая к другому сравнению, все мы – растущие вулканы, для которых наступит вдруг час взрыва, – но как близок или насколько отдален час такого извержения, об этом, конечно, никто не знает.

*Род атавизма.* – На людей выдающихся я охотно смотрю, как на отпрыски и силы культуры прошлых веков, которые внезапно дали себя почувствовать в нашей жизни, иначе говоря, как проявление атавизма какого-нибудь народа или какой-нибудь цивилизации. В каждый данный момент такие люди кажутся чуждыми, редкими, необычайными: и всякому, кто чувствует себе подобную силу, приходится ее беречь, оборонять, возвращать, несмотря на враждебное воздействие остального мира; и обладатель этих качеств становится то великим человеком, то безумным и страшным субъектом, смотря по тому, насколько он вообще находится в соответствии со своим временем. Прежде все эти редкие свойства были обычным явлением, а потому таковыми и считались: они не выделялись ровно ничем. Если даже допустить, что они еще и поощрялись, то все же при помощи их человек не мог стать великим, а если обладание ими не было сопряжено ни с какою опасностью, то они не могли сделать человека ни безумным, ни одиноким. – Вот именно подобные подделки под древние наклонности и встречаются по пре-

имуществу в обособленных родах и кастах, тогда как там, где расы, обычаи, ценности меняются быстро, проявление атавизма в такой форме – маловероятно. Для развития народов темп, которым действуют его силы, играет такую же роль, как темп в музыке; для нашего случая – необходимо *andante* развития, как темп страдающего, малоподвижного духа – духа консервативных родов.

*Сознание.* – Сознательность является самой последней и самой поздней стадией развития организма, а потому и самым неприспособленным и самым бессильным его свойством. Из сознания нашего происходят бесчисленные ошибки, которые приводят к тому, что человек или животное идут ко дну раньше, чем в этом предстояла бы какая-либо необходимость, раньше, чем «этого потребует судьба», как говорит Гомер. Если бы охраняющая сила инстинкта не проявляла неизмеримо большего могущества, чем наша сознательная жизнь: если бы он не был общим регулятором, то человечество, при всех своих превратных толкованиях, при своей способности фантазировать с открытыми глазами, при своей неосновательности и легковерии, короче говоря, при всей своей сознательности, – должно было бы пойти ко дну, не могло бы дольше существовать. Всякая функция, которая еще недостаточно сложилась и созрела, представляет известную опасность для организма; хорошо еще, если она надолго подпадет под власть какой-нибудь могучей тиранической силы! Именно в таком-то положении и находится наша сознательная жизнь, и немалую роль тут приходится отвести нашей гордости. Обыкновенно думают, что сознательная жизнь составляет ядро человека: нечто остающееся, вечное, последнее и самое основное! Сознание наше считают точно установленной величиной! Ну, хорошо, отрицайте свой рост! Принимайте свое сознание «за единицу организма!» – Но эта забавная переоценка и непонимание роли сознания оказывают великую пользу в том отношении, что, благодаря им, задерживается чрезмерно быстрое развитие вашей сознательности. В самом деле, ведь люди уже считают себя обладателями сознания, а потому и не прилагают особых усилий приобретать его еще в большей степени – и в настоящее время дело именно так и обстоит! Задача *воплотить в себя науку, сделать ее инстинктивной* — все еще является задачей совершенно новой, едва-едва заметной для человеческого глаза и еще неясно им признаваемой. Задачу эту видят только те, кто понял, что до сих пор мы воплощали в себя только свои ошибки и что все наше сознание покоится на ошибках.

*О цели науки.* – Как? Неужели последнюю целью наука намечает себе доставлять человечеству как можно больше удовольствий и возможно меньше неприятностей? Как? Если бы теперь приятное и неприятное было нанизано на одну веревку, и всякий *желающий* получить возможно большее количество одного, *должен* будет иметь возможно больше другого, – всякий, желающий научиться ликованию неба, должен приготовить себя к «тоске смертной?» Может, оно и действительно так! Стоики, по крайней мере, были уверены в этом и потому были последовательны, когда желали получить как можно меньше удовольствий, для того, чтобы иметь от жизни и как можно меньше неприятностей (изречение: «добродетельный – вместе с тем и самый счастливый человек» – служило не только вывеской, предназначенной для масс, но являлось также и казуистической тонкостью для натур тонких). И теперь перед вами опять выбор: или, *как можно меньше неприятного*, короче говоря, освобождение от страдания – что в сущности только и должны были бы обещать социалисты и политики других партий, если бы хотели действовать добросовестно, – или *как можно больше неприятного*, ибо только такую ценой можно окупить рост многих таких и до сих пор малооцененных удовольствий и наслаждений! Выбирайте первое, если хотите только приглушить и приуменьшить способность человечества к страданию, но при этом вы неизбежно приглушите и приуменьшите у него и *способность воспринимать приятное*. В действительности, при помощи науки можно преследовать и ту, и другую цель. Быть может, уже и теперь больше, чем прежде, знают ее способность лишать человечество его радостей и делать людей более холодными, неподвижными, стоическими. Но науку еще предстоит открыть, как *великую носительницу страданий!* – И

тогда-то, быть может, будет признана и обратная ее сила – ее чудесная способность освещать радостью новые звездные миры.

*К учению о чувстве силы.* – Силу свою мы проявляем в добре или зле. Страдание мы причиняем тем, кто впервые должен почувствовать нашу силу, ибо боль в области наших ощущений является более могучим средством, чем наслаждение: она заставляет нас искать причину, а наслаждение предрасполагает нас оставаться в одном и том же положении и не обращать своих взоров назад. Свои благодеяния, свое благорасположение мы оказываем лишь тому, кто от нас уже зависит (т. е. привык нас считать своею причиной); мы желаем увеличить силу этих лиц, ибо таким путем мы увеличиваем свою собственную силу, или хотим показать им, насколько выгодно состоять в зависимости от нашей силы, чтобы таким образом они находили большее удовлетворение в своем положении, были враждебнее настроены к противникам нашей мощи и с большей охотой вступали с ними в борьбу. Итак, будем ли мы делать добро или причинять кому страдание, наши деяния в конце концов будут представлять одну и ту же ценность; если бы даже мы, подобно мученикам за веру, рисковали жизнью своей, то и тогда мы принесли бы себя в жертву только ради того, чтобы добиться *своего* могущества, чтобы сохранить ощущение своей мощи. Какими богатствами не пожертвует всякий, кто таит в себе мысль: «я обладаю истиной», чтобы спасти это ощущение! Чего не выбросит он за борт, чтобы удержаться «наверху», – т. е. *выше* других, которым недостает истины! Правда, то состояние, при котором мы причиняем другим страдание, редко бывает настолько приятным, настолько несомненно приятным, как то, когда мы оказываем благодеяние, – но этот факт доказывает только, что нам еще недостает силы, или обнаруживает нашу досаду на свое убожество; здесь кроются новые опасности и неуверенность в том, что мы несомненно обладаем силой, и закрывает наш горизонт призраками мести, насмешки, кары. Только у самых раздражительных людей, – людей, ненасытно ищущих чувства силы, может явиться страстное желание наложить клеймо своей силы на каждого оказывающего сопротивление; у тех, на кого вид поверженного противника (как объекта для всяческого благоволения) наводит тоску и скуку. Затем, как обыкновенно бывает, выступает потребность так или иначе усладить свою жизнь. Дело, конечно, вкуса, будет ли человек стараться увеличивать свою силу медленно или натиском, уверенными шагами или поступками опасными и смелыми; – одним словом, сообразно со своим темпераментом каждый и выбирает себе ту или другую приправу. К каждой легкой добыче гордые натуры относятся до известной степени с презрением; они чувствуют себя хорошо, при виде людей еще несокрушенных, людей, которые могли бы еще быть врагами их, и вообще при виде всего, что достигается с трудом; к страдающему они относятся часто с жестокостью, так как он не представляет ни малейшего интереса ни для стремлений их, ни для гордости, – но тем сердечнее обращаются они с *равными*, бой с которыми был бы почетным даже в том случае, если бы для этого пришлось выискывать какой-нибудь повод. Вот под давлением приятного предчувствия таких перспектив, лица, принадлежавшие к рыцарским кастам, относились друг к другу с самой изысканной вежливостью. Сострадание является приятным чувством для тех, у кого мало гордости и нет желания достигнуть высокого, властного положения; для них легкая добыча – каждый страждущий – представляет собой нечто привлекательное, и сострадание недаром превозносится, как добродетель публичных женщин.

*О том, что называется любовью.* – Алчность и любовь: какие различные чувства возбуждает в нас каждое из этих слов! – но в сущности они под двумя различными названиями выражают одно и то же стремление. Первым из них клеймится это стремление с точки зрения лиц, уже достигших обладания, лиц, у которых стремление до известной степени успокоилось и которые теперь боятся только за свое «достояние»; второе стремление определяется с точки зрения неудовлетворенных, жаждущих и потому прославляющих известное явление, как некоторое «благо». Разве не является стремлением к новому *приобретению* наша любовь к ближнему? Разве нельзя то же самое сказать про нашу любовь к истине, к знанию и вообще

про всякое стремление к новизне? Мы мало-помалу пресыщаемся всем старым, всем, что нам прочно принадлежит, и все снова и снова протягиваем свои руки вперед; даже самый прелестный ландшафт, если мы проживем в его обстановке месяца три, уже не будет больше пользоваться нашей неизменной любовью, и снова нашу алчность будут привлекать далекие берега: всякое имущество в процессе обладания теряет свое значение для нас. Мы хотим сохранить в себе то удовольствие, которое мы испытываем от собственной своей личности, так чтобы оно вызывало в нас постоянно нечто новое, – в этом-то и заключается обладание. И раз мы пресыщаемся предметом своего обладания, это значит, что мы пресыщаемся самими собой. (Страсти наши могут быть весьма разнообразны, и почетный титул «любовь» можно приложить и к желанию устранить что-нибудь, раздать.) Если мы видим чьи-нибудь страдания, мы охотно стараемся воспользоваться случаем овладеть этой личностью; вот что вызывает человека, напр, к благодеянию, к состраданию; а он «любовью» называет это проснувшееся в нем стремление к новому обладанию и испытывает при этом известное чувство удовольствия ввиду того, что впереди его ожидает возможность расширить сферу своей власти. Весьма ясно проглядывает это стремление к собственности в чувстве половой любви: влюбленный хочет быть безусловным и единственным обладателем избранного им лица, он хочет так же иметь безусловную власть над его душой и над его телом: он хочет, чтобы любили только его одного и чтобы он один жил и властвовал в чужой душе, как нечто высшее, как нечто особенно желательное. Если обратить внимание, что человек при этом стремится весь мир устранить от ценного блага, от счастья и наслаждения; если принять в расчет, что влюбленный домогается того, чтобы причинить известное лишение всем остальным своим соперникам и стать драконом своего сокровища, подобно самому беспощадному и самому эгоистичному из всех «завоевателей» и предпринимателей; если, наконец, иметь в виду, что для влюбленного весь остальной мир не имеет никакой цены, кажется бледным, неинтересным, и он готов принести любую жертву, разрушить всякий установившийся порядок, подавить любой интерес, – то эти соображения заставят нас только удивляться, каким образом подобная дикая жадность, подобная страшная несправедливость, как половая любовь, могла считаться всегда чем-то величественным, чем-то божественным; каким образом из этой любви люди могли заимствовать вообще понятие любви и противопоставить ее эгоизму в то время, как она-то, быть может, и является самым наивным выражением эгоизма. Здесь очевидно на употребление слова оказали свое влияние неимущие и алчущие, – а их всегда было слишком много. Те же, кто в этой области получили большое удовлетворение, как Софокл, один из самых достойных любви и один из самых любимых афинян, – они-то и выдумали «неистовствующего демона», но Амур всегда подсмеивался над такими клеветниками, ибо они просто были его величайшими любимцами. – Но, то тут, то там на земле попадается один род любви, при которой ненасытное стремление двух лиц друг к другу смягчается новым желанием и новой алчностью, *общей* высшей жаждой стоящего над ними идеала: но кто знает такую любовь? Кто пережил ее? Истинное имя ее – *дружба*.

*Издаലെка.* – Гора эта делает всю окрестность, над которой она возвышается, привлекательной и важной: повторив себе эту мысль в сотый раз, мы становимся настолько неразумными по отношению к этой горе и проникаемся к ней такой благодарностью, что начинаем и в ней подозревать, как в источнике этой красоты, нечто, в высшей степени привлекательное, и вот поднимаемся на нее и разочаровываемся. Внезапно и сама она, и весь ландшафт, который разворачивается вокруг нас и под нами, теряет всю свою прелесть: мы просто забыли, что некоторые величины, как и некоторые блага, необходимо рассматривать с известного расстояния и исключительно снизу вверх, а не сверху вниз, ибо только при этом условии они производят на нас впечатление. Быть может, и ты, читатель, близко знаешь людей, на которых следовало бы смотреть только с известного удаления; только тогда их можно считать вообще людьми порядочными или даже привлекательными и сильными, и подобному человеку надо отсоветовать всякую попытку познать самого себя.



*Через тропинку.* – Когда приходится иметь дело с людьми застенчивыми, то необходимо уметь притворяться; в самом деле, они внезапно проникаются ненавистью ко всякому, кто застанет их на нежном, сумасбродном или возвышенном чувстве, как будто бы при этом вскрывается какая-нибудь их тайна. Если бы ты захотел сделать такому человеку в подобный момент какое-нибудь доброе дело, то он стал бы над тобою смеяться или холодно сказал бы в ответ какое-нибудь, за сердце хватающее, злое слово; – чувства их при этом замерзают, и они снова вполне овладевают собой. Однако нравоучение у меня вышло раньше басни. – Только раз в жизни мы были друг к другу так близки, что дружбе нашей и нашему братанию, казалось, ничто не могло помешать, и разделяла нас лишь маленькая тропа. И вот, в то самое время, когда ты хотел перейти ее, я спросил тебя: «не перейдешь ли ты ко мне через тропу эту?» – Но ты уже не захотел сделать этого; а на вторичную мою просьбу ты промолчал. И залегли с тех пор между нами горы и бурные потоки и все, что разделяет и отчуждает, и если бы мы теперь даже захотели прийти друг к другу, то уже не могли бы сделать этого! И когда ты задумываешься теперь о той небольшой тропе, слов недостает у тебя, – и ты рыдаешь и стоишь в изумлении.

*Мотивировка своего убожества.* – Мы могли бы, конечно, при известном умении превратить какую-нибудь убогую добродетель в добродетель могущественную и влиятельную, но мы могли бы с таким же успехом объяснить ее убожество известной необходимостью и не обращаться тогда из-за нее с упреками к судьбе. Так поступает мудрый садовник, влагая скудный ручеек своего сада в руку какой-нибудь нимфы и тем мотивируя его убожество: – и кто, подобно садовнику этому, не чувствует нужды в нимфах!

*Античная гордость.* – Нашему представлению о знатном человеке недостает античных красок, так как мы не в состоянии вполне прочувствовать античное рабство. Грек благородного происхождения между своим высоким положением и тем униженным состоянием, в котором находился тогда раб, имел такое множество промежуточных ступеней и был так далеко от него, что едва ли мог различать ясно фигуру раба: даже и с Платоном дело обстояло не лучше. Иное дело – мы, которые привыкли если не к самой мысли о равенстве людей, то, по крайней мере, к учению о их равенстве. И мы уже не чувствуем чего-то, похожего на презрение, к лицу, которое не может распоряжаться само собой и не имеет досуга; в каждом из нас, может быть, много такого рабства, в силу тех условий нашего общественного строя и деятельности, которые коренным образом отличаются от условий жизни древнего мира. – Древний философ совершал свой жизненный путь с тайным чувством, что рабов существует гораздо больше, чем это полагают: ему казалось, что всякий, кто не принадлежит к числу философов, должен быть рабом; и чувство чрезмерной гордости охватывало его, когда он задумывался о том, что могущественнейшие здесь, на земле, должны состоять в числе подобных рабов его. И этот род гордости чужд нам, и его мы не в состоянии пережить; и таким образом, даже в переносном значении, слово «раб» потеряло для нас свою силу.

*Злое.* – Присмотритесь к жизни лучших и плодотворных деятелей и народов и спросите себя: могло ли бы избежать бурь и непогоды дерево, которое гордо должно вырастать в высоту, и не следует ли считать благоприятными условиями все эти неудачи и внешние препятствия, всю эту ненависть, ревность, упорство, недоверие, жестокость, алчность и насилие, ибо без них, быть может, немислим сколько-нибудь значительный рост в области добродетели? Крепкие натуры черпают силу в том яде, который смертельно действует на натуры слабые, и он для них уже не носит названия яда.

*Достоинство глупости.* – Еще несколько тысячелетий по пути последней тысячи лет – и во всех действиях человечества явно будет проступать высшее благоразумие; но в то же время благоразумие наше потеряло все свое достоинство. Быть благоразумным становится необходимым, а потому и благоразумие оказывается явлением настолько обычным, что даже человек с плохим вкусом будет ощущать эту необходимость, как нечто шаблонное. И подобно тому, как тирания истины и науки оказалась в состоянии высоко поднять ложь, так и тирания благора-

зумия может выдвинуть на первый план новый вид благородного чувства. Благородство, быть может, будет заключаться тогда в том, чтобы носить на плечах глупую голову.

*К учению о самоотречении.* – Когда восхваляют добродетели какого-нибудь человека, то оценивают их не с точки зрения интересов самого лица, а лишь с точки зрения наших интересов и интересов всего человеческого рода: так сыздавна установилось, что в похвалу добродетели мы вкладываем очень мало самоотречения, очень мало «неэгоистического» чувства. Ведь надо же было видеть, что добродетели (как прилежание, послушание, целомудрие, благочестие, справедливость) в большинстве случаев оказывались вредными для их носителей, как такие стремления, которые слишком властно господствовали над ними и не поддавались разуму, который должен был привести их в равновесие с другими стремлениями. Если ты обладаешь добродетелью, действительной, полной добродетелью (а не одним только стремлением к добродетели!), – то ты становишься ее жертвой! Но ближний твой именно потому и восхваляет твою добродетель! Одобряют человека прилежного, хотя работой своей он испортил свое зрение, повредил самобытности и свежести своего духа; с уважением относятся к юноше, который «работал до того, что погубил свое здоровье», ибо полагают, что «для всего рода человеческого потеря даже лучших индивидуумов является лишь незначительной жертвой! Худо, что такая жертва необходима! Но, конечно, хуже было бы, если бы индивиды иначе думали, и свое благоденствие и развитие ставили бы выше работы, назначенной на службу всего человечества!» И таким образом юношу этого жалеют не ради его самого, а лишь потому, что это преданное и самоотверженное орудие – называемое «мужественным человеком» – вырывается у человеческого рода смертью. Быть может, следовало бы задать себе вопрос, не выиграл ли бы сам этот род человеческий, если бы данный субъект не работал с таким самоотвержением и на более долгий срок сохранил бы свою жизнь и здоровье. Преимущество это охотно признается, но оно очень быстро стусевывается перед другим преимуществом: принесена известная жертва, и идея жертвенного животного была наглядно для всех засвидетельствована, как нечто особенно возвышенное, насущное. Таким образом, когда восхваляется какая-нибудь добродетель, то восхваляется именно служебная роль человека и то слепое стремление, которое с силой проявляется в каждой добродетели и которое не позволяет индивиду сохранить вполне все свои выгоды, короче говоря: восхваляется в добродетели то неразумное, благодаря чему самостоятельное, отдельное существование превращается в функцию целого. Похвала добродетели является восхвалением чего-нибудь такого, что приносит вред частному лицу, – восхвалением таких стремлений, которые отнимают у человека его благороднейший эгоизм и способность его к самозащите. – Конечно, для того, чтобы развить и воплотить разные добродетельные обычаи, выставляют на вид ряд таких результатов, которые заставляют думать, что добродетель и личная выгода тесно связаны друг с другом, – да и в действительности существует такое родство. Безграничное прилежание, напр., эта типичная добродетель всякого, кто является каким-нибудь орудием, говорят, ведет к богатству и почестям и оказывается самым действительным противоядием от скуки и страстей; но при этом замалчивают те опасности, те страшнейшие опасности, которые представляет это самое прилежание.

Воспитание всегда так и поступает: оно стремится при помощи целого ряда приманок и преимуществ приучить индивид к такому образу мыслей и действий, который становится у него обычным, превращается в потребность и даже в страсть и властно ведет вопреки его ближайшим интересам к «общему благу». Как часто приходилось мне видеть, что безрассудное прилежание действительно приносит с собой богатство и почести, но отнимает у организма всю тонкость его ощущений, при наличии которых только и возможно наслаждаться этими богатствами и почестями; как часто приходилось мне также наблюдать, что оно, действительно, являлось главным противоядием от скуки и страстей, но оно в то же время притупляет наши чувства и закрывает нашему духу доступ к целому ряду новых приятных ощущений. (Прилежнейший из всех веков – наш век – не сумел из своих огромных богатств и великого при-

лежания извлечь ничего, кроме все возрастающих богатств и прилежания: таким образом для того, чтобы растратить приобретенное, нужно больше гения, чем для того, чтобы сделать приобретения! – Но и у нас ведь будут свои внуки!) Если такое воспитание достигает успеха, то всякая добродетель индивида оказывается с общественной точки зрения известной полезностью, с точки же зрения высших частных интересов, явлением вредным: оно ведет к известным дефектам в области нашего духа и чувства или обуславливает нашу преждевременную гибель. Все это вы заметите на целом ряде добродетелей: послушание, целомудрие, благочестие, справедливость, если только будете рассматривать их с этой точки зрения. Во всяком случае, не из духа самоотречения проистекает восхваление человека полного самоотречения, готового на всякие жертвы, добродетельного, – одним словом, такого человека, который не всю свою силу и ум, свое развитие, свое возвышение, свои успехи, свое могущество направляет на сохранение своей особы, но относится к себе сдержанно и не задумываясь о себе, быть может, даже равнодушно и с некоторой долей иронии. Наш ближний восхваляет самоотверженность, ибо он извлекает из нее выгоды! Если бы наш «ближний» сам был «самоотверженным», то он не допустил бы, чтобы личность так растрачивала свои силы, чтобы она так вредила себе, он стал бы противиться возникновению такой склонности и доказал бы перед всеми свою самоотверженность тем, что назвал бы ее *нехорошим* качеством! – Вместе с тем выступает и основное противоречие морали господствующей в настоящее время: ведь *мотивы*, которыми обосновывается эта мораль, стоят в противоречии с ее *принципов*. То самое положение, которое она выдвигает в свою пользу, противоречит ей с точки зрения критерия, установленного ею для моральных явлений! Требование: «ты должен отречься от себя и принести себя в жертву» должно быть декретировано только тем существом, которое само отрекалось от своих выгод и нашло свою гибель в жертве, предъявленной индивиду. Так должно бы быть, если бы мы не захотели идти вразрез с данной моралью. Но как только наш ближний (или общество) рекомендует альтруизм *в видах известной пользы*, то мы можем поставить требование прямо противоположное: «ты должен стремиться к выгоде на счет всего остального» и таким образом в один прием проповедуется: «ты должен» и «ты не должен!»

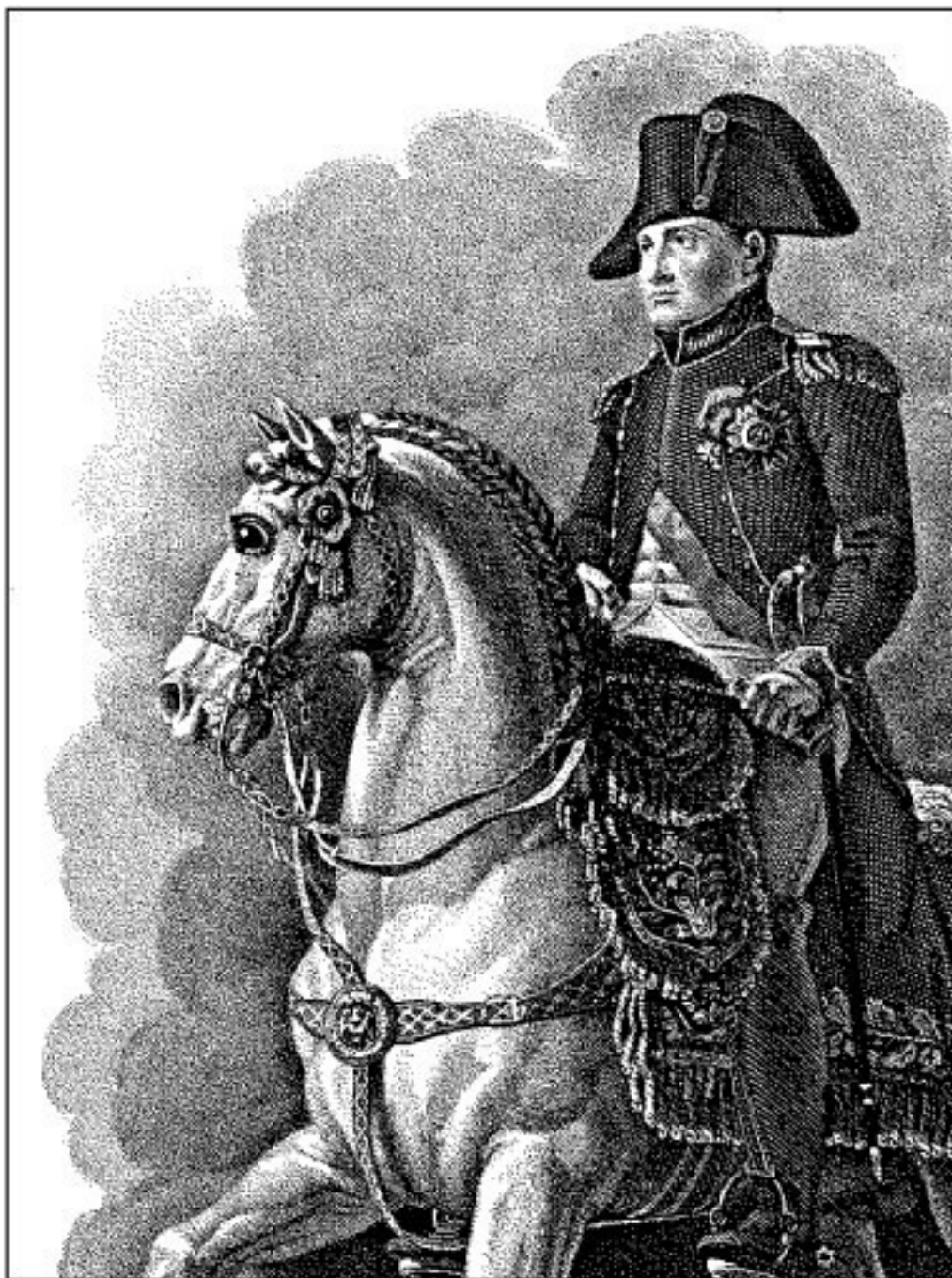
*L'ordre du jour pour le roi.* – Начинается день, начинаем и мы распределять на этот день торжества и празднества нашего всемилостивейшего господина, который в настоящий момент изволит еще почивать. Его превосходительство настроено сегодня плохо; но мы остережемся говорить об этом и не будем упоминать о его настроении, – мы приготовим сегодня какое-нибудь торжество повеселее и праздник поторжественнее, чем раньше. Его превосходительству, быть может, даже нездоровится, и мы запасем к завтраку последнюю приятную новость, – приезд г-на Монтеня, который умеет так приятно пошутить над своею немощью, – он страдает каменной болезнью. Мы примем нескольких лиц (лиц! – что сказала бы та старая надутая лягушка, которая также будет среди них, если бы услышала это слово! «я не лицо, но сама вещь»), – и прием затянется дольше, чем это кому-нибудь будет приятно: вот прекрасный повод рассказать о том поэте, который сделал над своими дверями такую надпись: «кто войдет сюда, тот окажет мне честь; кто же не сделает этого, – удовольствие». – Вот это, поистине, называется сказать грубость вежливым манером! И, быть может, поэт этот не без основания был невежливым. Он, возможно, хотел написать еще много стихов и для того оградить себя от внешнего мира, – вот чем и объясняется его утонченная грубость! Напротив, князь всегда представляет собой нечто более ценное, чем его стихи, даже в том случае, когда... однако, что же это мы делаем? Мы болтаем, а весь двор думает, что мы работали и ломали над работой свою голову: ведь света только и есть, что в нашем окошке. – Послушайте! Кажется, часы бьют! Ах, черт возьми! Начинается день и открываются танцы, а мы еще не разучили своего тура! Нам придется импровизировать, но ведь весь мир импровизирует свой день. Будем же сегодня поступать, как и все! – И вот вдруг исчезло мое удивительное сновидение, разогнанное, вероятно,

резкими ударами башенных часов, которые, со свойственной им важностью, отбили пять ударов. И мне казалось, что на этот раз бог сновидений хотел пошутить над моими привычками – ведь я начинаю обыкновенно день после того, как подготовлю его и сделаю для себя сносным, и, быть может, относился к этой привычке слишком старательно, по-княжески.

*Признаки испорченности.* Общество в силу известной необходимости время от времени переживает состояние, которое характеризуется словом «испорченность» и признаки которого заключаются в следующем. Испорченное общество прежде всего находится под властью пестрого *суеверия*, а народная вера, напротив, бледнеет, теряет силу: суеверие именно и представляет собой вольнодумство второй степени, – всякий, кто поддается ему, избирает известные, подходящие для себя формы и формулы и представляет себе право такого выбора. Человек суеверный, по сравнению с человеком религиозным, является всегда в большей степени «личностью», и суеверным обществом будет такое, в котором уже существует много индивидуумов и проявилась известная любовь к индивидуальности. С этой точки зрения суеверие представляет собою *шаг вперед* по сравнению с установившимися взглядами и служит признаком того, что интеллект становится независимее и хочет отстоять свое право. Странники старых убеждений начинают тогда оплакивать испорченность нравов, – они приучили нас к известным терминам и окружили суеверие клеветой в глазах даже самых свободных людей. Будем же знать, что оно является симптомом *прояснения*. – Во-вторых, общество, в котором имеет место развращенность нравов, обвиняют в *ослаблении*: оно явно начинает не так высоко ценить войну и не проявляет к ней прежнего стремления, и люди ищут теперь покой с такою же страстностью, как прежде желали военных и гимнастических почестей. Но обыкновенно при этом не замечается того, что прежняя энергия народа, прежняя его страстность, которая находила себе такое блестящее выражение в войне и военных упражнениях, вкладываются теперь в бесчисленные индивидуальные страсти и стали потому менее заметными; да, вероятно, в тех общественных состояниях, которые считают «развращенностью» нравов, мощь затрачиваемой народом энергии увеличилась против прежнего, и индивидуум по отношению к ней проявляет такую расточительность, какая раньше была недоступна: – он не был тогда еще достаточно богат! И в эту эпоху «расслабления» трагедии совершаются и в частных домах, и на улицах, зарождается великая любовь и великая ненависть, и пламя познания ярко вспыхивает до самого неба. В-третьих, как бы в противовес упрекам в суеверии и ослаблении, приписывают эпохе порчи нравов более мягкие взгляды, считают, что жестокость, которая сильно давала себя чувствовать раньше, в период большей веры и большей силы, теперь значительно смягчается. Но как не мог я согласиться с приведенными выше упреками, так не согласен и с только что высказанной похвалой; даже больше: я уверен, что жестокость теперь становится более утонченной и более древние формы ее приходится уже не по вкусу; но попытка путем слова и взглядов достигает в эпоху развращения нравов высшего своего выражения, – теперь только появилась злость и любовь к злобе. Люди эпохи развращения нравов отличаются своим остроумием и злоречивостью: они знают, что не одним только кинжалом можно убить человека, – они знают также, что люди верят во все, что *хорошо сказано*. – В-четвертых, в эпоху падения нравов на поверхность выплывают существа, которых называют тиранами: это предтечи и рано созревшие *первенцы индивидуализма*. Погодите немного: и вот уже эти плоды из плодов висят спелыми и желтыми на древе народа – и только ради плодов этих и существовало ведь это дерево! Если падение нравов и борьба всевозможных тиранов достигли своей кульминационной точки, то выступает всегда Цезарь, этот последний из тиранов, который заканчивает утомительную борьбу за единовластие, заставляя и само утомление работать на себя. Индивидуальность обычно своевременно достигает полной своей зрелости, а «культура», следовательно, высшего своего развития и высшей плодовитости, но делается все это не ради тирана и не через посредство его: хотя высококультурные люди любят льстить своему цезарю и выдавать себя делом его рук. Истина, однако, заключается в том, что они нуждаются в покое от внешнего мира, ибо свое

беспокойство и свою работу они носят внутри себя. В это время подкуп и измена достигают наивысшего своего развития, ибо любовь к только что открытому своему ego становится теперь гораздо могущественнее любви к старому, изношенному, обреченному на смерть «отечеству»; и стремление обеспечить себя от страшных колебаний счастья открывает даже более благородные руки, когда богатый или могучий человек выказывает готовность насыпать в них золота. Теперь нет прочного будущего, и люди живут только сегодняшним днем: вот то состояние души, при котором оболстители всякого рода пожинают легкую жатву – и, действительно, люди дают оболстить и подкупить себя только на сегодня и отбрасывают всякую мысль о будущем и о добродетели! Индивиды думают только о себе и, как известно, данным моментом интересуются больше, чем толпа, которая представляет им полную противоположность, ибо считает себя такой же непонятной, как и будущее: подобным же образом они охотно связывают свою судьбу с людьми сильными, доверяя таким делам и средствам, которые не могут быть поняты толпой и не могут рассчитывать на благосклонный прием с ее стороны. Но зато и тиран или цезарь понимает права индивидуальности и заинтересован в том, чтобы обратиться с ободряющей речью и протянуть руку помощи даже наиболее смелой индивидуальной морали. Ибо он думает о себе или хочет подумать о себе то же, что Наполеон однажды классически выразил в следующей фразе: «На все упреки, обращенные ко мне, я имею право давать вечно один и тот же ответ: “ведь это я”». Я стою в стороне от всего мира, никто не может ставить мне каких-либо условий. Я хочу, чтобы подчинялись моим фантазиям, и нахожу это естественным даже в том случае, когда позволяю себе то или другое развлечение». Так отвечал Наполеон своей супруге, когда та не без основания высказала подозрение в его супружеской верности. Эпоха развращения нравов является временем, когда яблоки падают с дерева: я подразумеваю здесь индивидуальности, этих сеятелей будущего, этих инициаторов духовной колонизации и пионеров в деле образования государственных и общественных союзов. Порча нравов – это только бранное слово для обозначения того факта, что для данного народа наступил осенний сезон.

*Различные виды недовольства.* – Недовольные люди типа слабого, как бы женского, способствуют украшению и углублению жизни; недовольство же со стороны людей сильных, – чтобы сохранить нашу аналогию, скажем: людей, отличающихся мужским характером, – служит для улучшения и упрочнения жизни. Слабость и женственность у первых сказывается в том, что они время от времени охотно поддаются обману и уже небольшое упоение и сумасбродство удовлетворяет их, хотя в общем они никогда не достигают полного удовлетворения; эта-то неизлечимость недовольства их причиняет им страдание, и они идут охотно за теми, кто умеет находить себе утешение в опиуме и других наркотиках, и ненавидят всех, кто ставит выше священнослужителя; – вот чем они поддерживают жизнь в состоянии напряженной борьбы!



Если бы в Европе с эпохи Средних веков не было излишка людей этого типа, то, быть может, европейцы не проявили бы своей знаменитой способности к постоянной изменчивости, ибо требования людей, обладающих сильным недовольством, настолько грубы, а люди эти в сущности настолько податливы, что в конце концов всегда достигают известного удовлетворения. Китай представляет пример страны, где недовольство в массах, как и способность их к изменениям, убита уже в течение многих веков и социалисты со своими планами улучшения и обеспечения жизни могли бы легко привести Европу к китайщине и китайскому «счастью», если только допустить, что им удалось бы с корнем вырвать ее слишком болезненное, нежное, женственное, а подчас излишнее недовольство и романтизм. Европа представляет собою больного, который должен относиться с высшей благодарностью к своей неизлечимой болезни и вечным переменам своего страдания; эти постоянно новые положения, постоянно новые опасности, боли и средства – все это в конце концов приводило наш интеллект в возбуждение, которое, если и не было самой гениальностью, то во всяком случае было матерью гениальности.

*Не предусмотрено для познания.* – Нередко встречается чувство робкого принижения, которое не позволяет человеку стать в число познающих. Именно: как только такой человек увидит что-нибудь необычайное, – он тотчас же отворачивается и говорит себе: «ты ошибся! Где были твои чувства? Это не может быть истиной!» – и, вместо того, чтобы зорче прислушаться и приглядываться, он, как испуганный, бежит от поразившего его предмета и старается как можно скорее, выбросить его из головы. Он именно во внутренней жизни держится следующего правила: «я не хочу ничего видеть, что находится в противоречии с установившимися взглядами на вещи! Разве я для того создан, чтобы открывать новые истины?»

*Что называется жизнью?* – Жить – значит отталкивать все, что обрекает себя на смерть: жить – значит быть свирепым, неумолимым ко всему, что является дряхлым и слабым на наш взгляд и не только на наш взгляд. Так неужели же жить – значит не иметь сострадания к умирающему, нищему и старику? Бесперывно быть убийцей? – А ведь еще Моисей принес в древности заповедь: «не убий!»

*Отрицающий.* – В чем состоит отрицание? Тот, кто отрицает, – стремится в высший мир, хочет улететь дальше и выше, чем люди, держащиеся каких-нибудь положительных правил; – он отбрасывает многое из того, что могло бы задержать его полет, и в выброшенном им балласте не все и для него не имеет цены, не все и ему недорого: он приносит это в жертву своему порыву ввысь. И мы только видим в нем эту жертву, это отбрасывание в сторону, а потому и называем его отрицающим. Но он доволен тем впечатлением, которое он на нас оставляет: он хочет скрыть от нас свое желание, свою гордость, свой умысел, чтобы подняться над нами. – Да! а ведь тот, кто поддакивает, кажется нам умнее, чем мы думали, и так почтителен по отношению к нам! Он – ровня нам даже в отрицании.

*Вред, проистекающий от лучших сторон человеческой природы.* – Наши силы иногда заводят нас так далеко, что мы уже больше не можем сдерживать своих слабостей и идем ко дну: мы даже предвидим подобный исход и тем не менее все же стремимся к нему. Тогда становимся мы жестокими ко всему, нуждающемуся в пощаде, и наше величие будет в то же время и проявлением нашей безжалостности. – Переживая подобное состояние, за которое мы готовы расплатиться жизнью, мы по своему воздействию будем напоминать великих людей с их влиянием на других и их время: лучшими сторонами своего существа они топят много слабых, неуверенных, несложившихся, желающих и приносят таким образом вред. Да, может и так случиться, что в общем тот или другой из них принесет только вред, ибо лучшие стороны его бытия могут быть усвоены только такими индивидами, которых оно, как сильный хмельной напиток, заставит потерять и ум и чувство самосохранения, и они, хмельные, переломают себе руки и ноги на той неверной дороге, куда загонит их хмель.

*Привражище.* – Когда во Франции явились противники, а, следовательно, и защитники единиц Аристотеля, то можно было наблюдать явление, которое обыкновенно приходится видеть довольно часто, но на которое люди неохотно обращают свое внимание: – *основания*, на которых должен был покоиться закон, выдумывались исключительно лишь для того, чтобы не выдать своей привычки к нему и своего нежелания признать что-либо иное. То же самое повторяется по отношению ко всякой господствующей морали и ведется издавна: основания и цели, которые якобы кроются за известной привычкой, выдумываются только тогда, когда появляются противники данной привычки и спрашивают, какую цель она преследует и на каких основаниях покоится. В том и беда консерваторов всех времен, что они бывают вынуждены лгать по разным поводам.

*Комедия, разыгрываемая знаменитостями.* – Знаменитые мужи, ищущие славы, как, напр., все политики, не без задней мысли выбирают себе союзников и друзей. От одного они хотят заимствовать блеск и отблеск его добродетели, от другого – способность внушать к себе страх какими-нибудь сомнительными добродетелями, которые всеми признаются за ним; у третьего захватывают тайком славу человека праздного, живущего в свое удовольствие, ибо им

самим иногда выгодно прослыть людьми беспечными и ленивыми, чтобы таким путем скрыть свое выжидательное положение; они приближают к себе то фантазера, то человека сведущего, то мечтателя, то педанта, но только как часть своего настоящего «я» и – не более! И атмосфера, окружающая их, становится мертвой, неподвижной, хотя в то же время кажется, что всё ищет их близости и стремится стать «характерным выразителем» их; в этом отношении они напоминают нам большие города. Слава их, как и их характер, постоянно находится в движении, и достигают они этого постоянной переменной средств, выдвигая на сцену то одно, то другое из действительных или вымышленных своих свойств: для этого, как сказано, они пользуются своими друзьями и союзниками. Сами же они стремятся занять прочное положение и имеют вид медных, блестящих статуй, ради чего и разыгрывают свою комедию.

*Торговец и знатный.* – Продажа и покупка являются в настоящее время такими же пространственными операциями, как искусство читать и писать: теперь в них приходится принимать участие и тем, кто совсем не принадлежит к торговому классу, и ежедневно упражняться в их технике: так в глубокой древности, когда человек был еще диким, каждый непременно был охотником и изо дня в день упражнялся в технике этого дела. Тогда охота была занятием всеобщим, но теперь, наконец, она сделалась привилегией людей могущественных и знатных и потеряла характер повседневности и всеобщности, – а с тех пор, как в ней перестали чувствовать необходимость, она является предметом прихоти и роскоши. Та же самая судьба, быть может, когда-нибудь постигнет и процессы купли-продажи. Можно представить себе такое состояние общества, где нет места этим процессам и где совершенно утеряна необходимость упражняться в их технике ежедневно: и весьма возможно, что отдельные единицы, которые нелегко поддаются законам общего состояния, будут позволять себе в виде роскоши заниматься куплей-продажей. И тогда торговля станет признаком знатности, и благородные классы, быть может, с таким же рвением будут заниматься торговлей, с каким до сих пор они занимались войной и политикой; возможно, что к тому времени и политика получит совершенно обратную оценку. Ею уже и теперь занимаются не одни привилегированные классы, и со временем, пожалуй, она сделается таким обыденным занятием, что, подобно всей партийной и ежедневной прессе, будет помещаться под рубрикой «Проституция духа».

*Неприятные ученики.* – «Что делать мне с двумя этими учениками» – восклицал с негодованием философ, который так же портил юношество, как портил его когда-то Сократ, – это для меня неприятные ученики. Один никому не может ответить отрицанием, а другой – всякому говорит и так и сяк. Если даже предположить, что они воспримут мое учение, то первому пришлось бы много выстрадать, ибо мой образ мысли требует воинственной души, злой воли, страсти к отрицанию, толстой кожи, – он страдал бы тогда и от наружных, и от внутренних ран. Второй из каждой вещи, которую он берется защищать, делает посредственность, что отражается и на затронутом им вопросе, – такого ученика я желаю только своему врагу».

*По выходе из аудитории.* – «Чтобы доказать вам, что человек в сущности принадлежит к добрым животным, я напомню о том, как долго он остается легкомысленным. И только теперь, когда уже слишком поздно и после страшного насилия над собой, он сделался *недоверчивым* животным; – да! человек теперь – злее, чем прежде». – Я не понимаю, почему бы человеку быть теперь злее и недоверчивее? – «Да потому, что у него есть теперь наука, – потому что он в ней теперь нуждается!»

*Historia abscondita.* – Всякий великий человек имеет и обратную силу: снова взбудораживается вся история, и тысячи тайн прошлого выползают из своих ущелий к нему, на солнце. И отнюдь не следует с пренебрежением относиться к той мысли, что всё когда-нибудь снова будет еще раз уделом истории. И прошлое теперь все еще, быть может, в своих существенных чертах, остается неоткрытым! Да! потребуется еще много людей, обладающих обратной силой!

*Ересь и чародейство.* – Не признаки высшего интеллекта, а действие сильных и злых наклонностей, – изолирующих, упрямых, злорадных, злобных наклонностей проявляет всякий,



кто не хочет держаться общепринятого образа мыслей. Ересь является двойником чародейства: в ней так же мало добродушия, и она так же мало заслуживает почтения. Еретик и колдун представляют собою два рода злых людей: общее у них то, что оба они чувствуют себя людьми злыми и оба ощущают в себе непреодолимое желание становиться поперек дороги всему, что обладает властью (над людьми и людскими мнениями). И тех, и других в громадном количестве выдвинула Реформация, которая является своего рода усилением средневекового духа в ту пору, когда он уже потерял всю свою добрую совесть.

*Последние слова.* – Вспомним, что император Август, этот страшный человек, который обладал таким же самообладанием и таким же умением молчать, как какой-нибудь мудрый Сократ, выказал, в последних своих словах нескромность по отношению к себе: он позволил в первый раз упасть маске с своего лица в тот самый миг, когда дал понять другим, что он носил маску и разыгрывал комедию, – и он действительно так искусно исполнял на троне роль отца отечества и мудрого человека, что доводил зрителей до настоящей иллюзии! *Plaudite, amici, comoedia finita est!* — Мысль умирающего Нерона: *qualis artifex pereo!* была в то же время и мыслью умирающего Августа: клоунская суета! клоунская болтливость! Какой контраст с умирающим Сократом! – Но Тиберий, этот самый ужасный мучитель из всех людей, предававших себя мучениям, умер молча, – он был человеком искренним, он не был актером! Что могло прийти ему в голову в последнюю минуту? Быть может, следующее: «Жизнь представляет из себя продолжительную смерть. И я, безумец, укоротил эту жизнь у стольких людей! Разве для благодетелей я создан был? – Я должен был бы дать им вечную жизнь: тогда я мог бы *видеть* их вечно *умирающими*. Для этого у меня были достаточно хорошие глаза: *qualis spectator pereo!*» Когда после продолжительной предсмертной агонии к нему снова возвратились силы, окружающие нашли для себя полезным придушить его подушками, – и так он умер двойною смертью.

*Три ошибки.* – За последние столетия наука двигалась вперед или потому, что люди надеялись при помощи ее лучше понять мудрость и благодать Божию, – главный мотив, руководивший в исследованиях великими англичанами (как Ньютон), – или потому, что верили в абсолютную полезность знания, а именно в самую интимную связь между моралью, наукой и счастьем, – что являлось главным мотивом для великих французов (как Вольтер), – или потому, что в науке думали получить нечто, полное самоотречения, благодушия, самодовлеющее и действительно безгрешное и совершенно чуждое дурным стремлениям человека, – это был главный мотив в душе Спинозы, который чувствовал в своем познании что-то божественное. Так тремя заблуждениями обуславливалось движение науки вперед.

*Взрывчатый материал.* – Если принять во внимание, что силы молодых людей постоянно стремятся проявить себя каким-нибудь бурным образом, то неудивительно, что молодежь так грубо и так неразборчиво бросается на тот или на другой предмет. Ее привлекает к вещи лишь вид той жадности, с которой люди бросаются на нее, как образ пылающего фитиля, – но не самая вещь. Наиболее искусные из обольстителей поэтому понимают, что на вид необходимо выставлять взрыв – бурное проявление, а не обращаться к каким-либо доказательствам: при помощи одних основ с этими пороховыми бочками ничего не поделаешь.

*Перемена вкуса.* – Перемена общего вкуса имеет больше значения, чем перемены в области мнений; мнения, вместе со всеми доказательствами, противоречиями и со всем их интеллектуальным маскарадом являются только симптомами перемен в области вкуса и никогда не бывают причинами таких перемен, каковая роль им часто приписывается. Как же изменяется общий вкус? Процесс состоит в следующем: отдельные могучие и влиятельные личности без всякого стеснения высказывают *hoc est ridiculum, hoc est absurdum*; таким образом они решают, что им нравится и что внушает отвращение, и тиранически настаивают на своем решении. Таким путем они накладывают на многих людей известное принуждение, из которого постепенно образуется привычка для еще большего числа людей и, наконец, *потребность для всех*. То же обстоятельство, что эти единицы иначе чувствуют, имеют иной вкус, объясня-

ется обыкновенно особенностями их образа жизни, пищи, пищеварения, быть может, большим или меньшим количеством неорганических солей – в крови и мозге, короче говоря, их физическими особенностями. Единицы эти имеют только мужество открыто исповедовать свою физику и прислушиваться к самым тончайшим ее требованиям: вот такими-то тончайшими тонами физики являются эстетические и моральные суждения этих индивидов.

*О недостатке благородных форм.* – Солдаты и вожди их всегда находились в более благородных отношениях друг к Другу, чем работники и работодатели. По крайней мере, всякая культура, опирающаяся на военную организацию общества, и теперь еще стоит высоко над так называемой индустриальной культурой. Последняя в настоящем своем виде является вообще самой низкой формой общежития, из всех когда-либо существовавших. В ней явно выступает действие закона нужды: человеку хочется жить, и он продает себя, но в то же время презирает того, кто старается использовать для себя эту нужду и *купить* себе работника. Подчинение людям могучим и возбуждающим к себе страх, тиранам и предводителям, никогда не кажется столь тягостным, как подчинение неизвестным и неинтересным личностям, каковыми оказываются все крупные величины индустриального мира. В работодателе работник видит лишь хитрого, сосущего, спекулирующего на всякую нужду пса, который ничем не отличается от него ни по имени, ни по виду, ни по привычкам, ни по славе. Фабрикантам и крупным предпринимателям в области торговли недоставало, вероятно, до сих пор всех тех форм и отметок высшей расы, которые и делают только личность интересной; если бы у них во взоре и манерах было то благородство, какое мы наблюдаем у людей знатных по происхождению, то, быть может, среди масс никогда не было бы никакого социализма. Ведь эти массы собственно готовы подчиниться какому угодно рабству, если они только будут думать, что лицо, стоящее над ними, обладает высшею формой и тем самым доказывает свое превосходство и свое природное право повелевать другими! Самый обыкновенный человек чувствует, что благородство нельзя импровизовать и почитает в нем плод многих веков. Но отсутствие высших форм и всем известная вульгарность наших фабрикантов, которые отличаются своими красными, жирными руками, наводят на мысль, что только случай да счастье вознесли здесь одного над другим. «Хорошо же! – думает каждый про себя, – попытаем и мы своего счастья! Бросим же кость». – И вот выступает на сцену социализм.

*Против раскаяния.* – Мыслитель видит в своих собственных трудах лишь вопрос и пробу, к какому бы заключению он ни пришел: удача и неудача служат для него одинаково *ответом*. Жалеть о неудавшемся, чувствовать какое-нибудь раскаяние он предоставляет тем, кто работает по принуждению и кто ждет удара дубиной всякий раз, как господин его остался довольным полученными результатами.

*Работа и скука.* – Искать работу ради заработка – вот стремление, которое охватывает теперь всех людей во всех цивилизованных странах: работа для них является только средством, а не целью; они малоразборчивы по отношению к занятиям, особенно, если при этом можно получить хорошую выгоду. Теперь все реже и реже встречаются люди, готовые скорее погибнуть, чем приняться за работу, к которой они не чувствуют никакого расположения: трудно удовлетворить тех разборчивых индивидов, которые отвертываются от богатых выгод, если только сама работа не является лучшей из всех остальных выгод. К таким изредка встречающимся людям принадлежат художники и созерцатели всякого рода, а также те лентяи, которые проводят свою жизнь среди охоты, путешествий, различных приключений и любовных интрижек. Все они с удовольствием подчиняются работе, – и в случае необходимости самой тяжелой, самой трудной работе, – до тех пор, пока она не противоречит их желаниям. В противном же случае они проявляют свою лень самым решительным образом, если даже она угрожает им нищетой, бесчестьем, опасностью здоровью и жизни. Им не так страшна скука, как работа, к которой они не чувствуют никакого расположения: да, им нужен продолжительный период безделья для того, чтобы им удалась их работа. Для мыслителя и людей, одаренных изобретатель-

ным духом, безделье является неприятным «затишьем» души, которое предшествует счастливой поездке при благоприятном ветре; надо только перетерпеть этот период, выждать его действие, – а это удастся лишь немногим натурам. Изгонять досуг и отдаваться работе без всякого расположения к ней – это общераспространенное явление. И азиаты, пожалуй, имеют перед европейцами преимущество в своей способности предаваться более продолжительному и глубокому покою; даже наркотики их действуют медленно и требуют известного терпения, служа в этом отношении контрастом чисто европейскому яду-алкоголю с его неприятной способностью вызывать опьянение внезапно.

*Что обнаруживают законы.* – Безусловно ошибается тот, кто, при изучении уголовных законов какого-нибудь народа, – ищет в них выражения его характера; законы не обнаруживают внутреннего содержания народа, – они показывают лишь то, что этому народу было чуждо, что у него встречалось редко, казалось неслыханным и чужеземным. Уголовные законы относятся к таким фактам, которые являются исключениями в области обычной нравственности. И самые жестокие законы поражают такие деяния, которые были общепринятым явлением у соседнего народа. Так вагабиты считают только два смертных греха: поклоняться не вагабитскому богу, а какому-нибудь другому божеству и предаваться курению (которое у них называется «постыдным пьянством»). «А как же убийство, нарушение супружеской верности?» – спрашивал в изумлении англичанин, которому впервые пришлось ознакомиться с этими взглядами. «Господь ваш ведь милостив и милосерден», – отвечал на это старик-старейшина. – Так и древние римляне считали, что женщина могла совершить только два смертных греха: изменить мужу и напиться пьяной. Катон Старший полагал, что обычай обмениваться родственникам поцелуями именно для того был установлен, чтобы следить за женщиной, не пахнет ли от нее вином. И, действительно, женщины, уличенные в пьянстве, наказывались смертью: и не за то только, что в опьянении они не знали предела своей распущенности. Римляне боялись прежде всего того оргиастического и дионисовского начала, которого так искали периодически женщины европейского юга в то время, когда вино в Европе было еще мало известно. Они видели в этом стремлении чудовищное предпочтение иностранных обычаев, – предпочтение, благодаря которому римское чувство лишалось почвы, а в плоть и кровь входили чужие обычаи, и совершалась, таким образом, на их взгляд, измена Риму.

*Вера в мотивы.* – Важно знать мотивы, которыми человечество до настоящего времени руководствовалось в своих действиях. Быть может, *вера* в тот или другой мотив – та вера, которую само человечество искренне выдавало рычагом своей активной жизни, – представляет для исследователя нечто особенно существенное. Вера в тот или другой мотив, а не самый мотив, который является собственно второстепенным фактом, дает людям внутреннее счастье или несчастье.

*Эпикур.* – Да, я горжусь тем, что понимаю характер Эпикура иначе, чем понимают его, пожалуй, все остальные, и чувствую себя в силах пережить то чувство счастья, которое охватывало древнего грека в часы послеполуденного отдыха, – пережить, несмотря на все, что мне приходилось слышать и читать о нашем философе. Я вижу, как взор его покоится на обширной поверхности беловатого моря, на прибрежных скалах, облитых лучами солнца, а большие и мелкие животные играют в его свете так же спокойно и уверенно, как спокойны и уверены самый этот свет и этот взор. Такое счастье может обрести только тот, кто постоянно страдал; это – счастье взора, перед которым море бытия утихает и который никогда не устанет смотреть на его поверхность, на эту пеструю, нежную, дрожащую морскую пену: и никогда до него сладострастие не отливало в такие умеренные формы.

*Наше удивление.* – Наше действительное и несомненное счастье заключается в том, что наука открывает такие предметы, которые стоят прочно и ведут постоянно все к новым и новым открытиям. Да, мы так подавлены всей непрочною и фантастичностью наших суждений, вечным шатанием всех человеческих законов и понятий, что естественно начинаем изум-

ляться, когда видим, что научные данные действительно установлены очень прочно. Раньше люди ничего не знали об этой изменчивости всего человеческого, раньше обычные взгляды на нравственность заставляли прямо верить, что вся жизнь человеческая неизменными пробами скреплена с медной необходимостью, – и если ощущали подобное изумление, то разве только, когда приходилось слушать сказки и похождения фей. И элемент удивления благотельно действовал на людей, которые могли утомиться под бременем вечных и неизменных правил. Но потерять почву! висеть в пространстве! блуждать! быть безрассудным! – да это раньше считали райским счастьем, крайней роскошью.

Мы же со своим блаженством напоминаем человека, потерпевшего кораблекрушение, который, наконец, достиг берега и обеими ногами стал на старую, твердую землю, – изумляясь, что она не колеблется.

*Об угнетении страстей.* – Если постоянно сдерживать проявление страстей, как что-то «вульгарное», грубое, мещанское, – и таким образом стремиться покорять не самые страсти, а лишь их выражение, – их язык и жесты, – то попутно все-таки получается угнетение и самих страстей, по крайней мере, их ослабление и видоизменение. Поучительнейший пример нам в этом отношении дает двор Людовика XIV и все, что так или иначе было с ним связано. Век, воспитанный на том, чтобы подавлять свое чувство, не имел уже больше и самих страстей, место которых заняли приятные, плоские, заигрывающие манеры, – век, который был прямо одержим неспособностью проявлять что-нибудь грубое: даже оскорбления наносились и принимались в самых любезных выражениях. Напротив, наше время представляет, пожалуй, изумительнейший контраст с только что нарисованной картиной: я повсюду вижу и в жизни, и на сцене, и далеко нередко в литературных произведениях, удовольствие ко всяким грубым проявлениям страсти: страстность, а не самые страсти поставлены в настоящее время в известные условные рамки! Но люди ничего не добьются таким путем, и наши потомки будут настоящими дикарями, а не только носителями диких и грубых форм.

*Сознание нужд своих.* – Быть может, ничем так резко не отличаются друг от друга люди и эпохи, как различной степенью сознательного отношения к своим нуждам. Мы, люди настоящего столетия, несмотря на все обилие наших недостатков и разнообразие нашего увечья, мы не обладаем сколько-нибудь значительным личным опытом и являемся лишь жалкими фантазерами; особенно ярко проявляется это по сравнению с эпохой страха – самой продолжительной из всех эпох, – когда личность должна была защищать себя против организованной общественной силы и потому вырабатывать сильных людей. В то время человек проделывал богатую школу физических страданий и лишений, и в известной суровости к себе, в добровольном самоистязании видел для себя неизбежное средство самосохранения; тогда приучал он близких ему людей переносить боль, тогда он охотно сам прибегал к боли и других присуждал к самым страшным страданиям, руководясь исключительно чувством самосохранения. Что же касается духовных нужд, то относительно каждого человека я ставлю себе вопрос, известны ли ему эти нужды из личного опыта, или только по описанию; считает ли он необходимость такого познания ради только лицемерия и выдвигает ее, как признак более тонкого образования, или же в глубине своей души вообще не верит в великие духовные страдания и при одном напоминании о них реагирует, как при напоминании о великих физических мучениях, вспоминая о зубной боли и желудочных коликах. Так, по-моему, дело и обстоит у большинства людей. Непривычка к духовной и физической боли и условия, при которых вы только изредка можете встретить страдающего человека, создали то, что наши современники ненавидят боль гораздо сильнее, чем люди прошлых веков и с большей ненавистью говорят о ней: даже мысль о страдании они едва выносят и наличие ее в мире дает повод им обращаться с упреком ко всему бытию. Неожиданное появление пессимистической философии не служит признаком великой, страшной обороны; но она играет роль вопросительных знаков, которые всегда ставятся относительно ценности всей жизни в те периоды, когда бытие наше достигло таких утонченных

и легких форм, при которых даже ничтожная духовная и физическая боль, не превышающая боли от укуса комара, кажется слишком кровавой, когда за скудностью действительного личного опыта в страдании весьма охотно выдают за страдания высшего порядка лишь *общие представления о страдании*. – Я бы, пожалуй, дал рецепт против пессимистической философии и чрезмерной чувствительности, которая, как мне кажется, собственно и является «нуждой настоящего времени», но рецепт этот звучит слишком сурово и чего доброго его отнесут в число тех признаков, на основании которых и теперь приходят к мысли, что «бытие является чем-то недобрым». Ну, что же делать? Рецепт этот гласит: «клин клином вышибай».

*Великодушные и родственные ему чувства*. – Такие парадоксальные явления, как внезапное хладнокровие при решении какого-нибудь вопроса у сангвиника, как юмор у меланхолика и особенно как великодушие, которое является внезапным решением поступиться чувством мести или зависти, – наблюдаются у людей, обладающих могучей внутренней силой, действующей только внезапными толчками, у людей, которые очень быстро пресыщаются и очень быстро начинают чувствовать отвращение. Такие люди скорее удовлетворяются и доходят почти до пресыщения, отвращения и противоположного вкуса. Благодаря этому контрасту, разрешается спазм ощущения: у одного в виде внезапной холодности, у другого – в виде смеха, у третьего – в слезах и самопожертвовании. Великодушного – я говорю, по крайней мере, о тех великодушных людях, которые всегда производят особенно сильное впечатление, – я представляю себе человеком, питающим страшную жажду мести, который быстро мог бы достичь удовлетворения, но который так упивался им, так полно выпил его до последней капли *уже в представлении*, что за этим процессом быстро последовало страшное отвращение, – он поднимается тогда «выше самого себя», как говорят, и прощает своему врагу, даже благословляет его и оказывает ему всяческие почести. Вместе с тем насилием, которое он совершает над самим собой, вместе с тем поруганием все еще могучего своего чувства мести, он отдается только новому стремлению (отвращению) и делает это с таким же нетерпением, с такою же неумеренностью, с какою он незадолго перед этим упивался в своей фантазии картинами мести. Великодушные представляет из себя ту же степень эгоизма, как и месть, но только особый вид эгоизма.

*Страх одиночества*. – Даже у самых чутких людей упреки совести слабее, по сравнению с тем чувством, которое мы испытываем при мысли, что тот или другой из наших поступков будет направлен против добрых нравов *нашего* общества. Холодный взгляд, недовольная мина со стороны тех, среди кого и ради кого нас воспитывают, *страшны* даже для самых сильных людей. Но что собственно страшного во всем этом? Угроза оставить вас в одиночестве – вот аргумент, который ниспровергает даже самые лучшие аргументы, находящиеся в вашем распоряжении в пользу какого-нибудь лица или предмета. – Так говорит в нас стадный инстинкт.

*Чувство истины*. – Я хвалю у себя всякий скептицизм, на который мне позволяется ответить: «сделаем же относительно этого опыт!» Но я уже не могу больше ничего слышать о всех предметах и о всех вопросах, которые не допускают опыта. Тут лежит граница моего чувства истины, ибо дальше я уже не чувствую у себя смелости.

*Что о нас знают другие*. – То, что мы сами о себе знаем и думаем, к нашему счастью, далеко не отличается такой определенностью, как это обыкновенно полагают. И вдруг в один прекрасный день прорывается то, что знают (или воображают) о нас *другие*, – и мы убеждаемся, что приговор этот представляет нечто особенно могучее. Легче покончить со своей нечистой совестью, чем со своей дурной славой.

*Где начинается благо*. – Там, где обыкновенный глаз не различает дурных стремлений, как таковых, благодаря тем утонченным формам, в которые облекаются эти стремления, – там и определяет человек царство своего блага, и, чтобы переступить в царство блага, возбуждает к деятельности такие стремления, как чувство безопасности, удовольствия, благоволения, которым дурные стремления ставили известные границы. Таким образом, чем тупее глаз, тем обширнее для человека является царство блага! Вот почему так ясно на душе у простого народа

и у детей, а у великих мыслителей такой мрак и такая скорбь, которая граничит с непокойной совестью.

*Сознание наших иллюзий.* – Когда вместе со своим познанием я становлюсь лицом к лицу с остальным миром, то все мне кажется изумительным и новым, и в то же время ужасным и полным иронии! *Я открыл* для себя, что древний мир людей и животных, даже более того – вся первобытная жизнь и все прошлое каждого чувствующего существа – продолжает во мне мечтать, любить, ненавидеть. И вот я внезапно пробудился среди этих грез, но лишь для того, чтобы осознать, что я так же грежу и *должен* продолжать свои грезы, если не хочу пойти ко дну, подобно лунатику, который должен продолжать грезить для того, чтобы не упасть. Что же такое представляют теперь мои «иллюзии»? Конечно, иллюзия о каком-нибудь существе не будет его контрастом: – ведь о любом существе я могу высказать лишь предикат того, чем он мне кажется! Конечно, не мертвой маской, которую легко можно надеть и снять с неизвестного X! Иллюзия является для меня чем-то действующим, живым и это нечто в своем издевательстве надо мной заставляет меня почувствовать, что здесь все – иллюзия, блуждающие огоньки, танец духов и больше ничего, – что между всеми этими грезящими и я, «познающий», совершаю свой танец, что каждый из нас своим познанием затягивает только земной танец и только на время является распорядителем на празднике бытия и что установленная последовательность и связь всех познаний является и будет служить высшим средством для того, чтобы сохранить всеобщность этого бреда, дать возможность членам этого грезящего мира понимать друг друга и продолжать свой бред на будущее время.

*Последняя форма благородства.* – Что делает человека благородным? Конечно, не жертва с его стороны: ведь и безумный может принести жертву; а также и не всякая страсть, ибо бывают позорные страсти. Также и не отсутствие эгоизма, ибо эгоизм, быть может, особенно-то устойчиво и проявляется у людей наиболее благородных. – Но благородный человек должен обладать страстью, совершенно обособленной и вместе с тем не знать об ее обособленности; он должен употреблять редкую и исключительную меру ценностей, гранича в этом отношении почти с помешательством; чувствовать жар в таких предметах, которые другим кажутся холодными; угадывать такие ценности, для которых еще не изобретено весов; приносить жертвы на алтари, посвященные неизвестному богу; обладать храбростью, не ради почестей; доводить чувство самодовольства до излишества и заражать в этом отношении окружающую атмосферу. Таким образом до сих пор благородным можно было сделаться только при наличии двух условий: быть редким человеком и не знать об этой своей особенности. Но обратим при этом внимание на то, что, руководясь такой путеводной нитью, мы, в погоне за исключениями, считаем пошлым и даже позорным все обычное, ближайшее к нам и необходимое, – короче говоря, – все, что больше всего способствует сохранению рода человеческого, все, что вообще являлось для человечества правилами поведения. Быть прокурором этих правил – вот, пожалуй, – последняя и тончайшая форма, в которой проявляется благородство на земле.

*В страстных поисках за страданием.* – Когда я думаю о том страстном желании найти себе какое-нибудь дело, – желании, которое так раздражает и мучит миллионы молодых европейцев, изнывающих от тоски и чувствующих себя не в силах переносить бремя своей собственной персоны, то мне становятся непонятны страстные поиски страдания, чтобы найти себе хотя бы какое-нибудь проблематическое основание для своей деятельности! Это неотложная потребность! Вот чем объясняются все завывания политиков, все эти многочисленные, фальшивые, выдуманые, раздутые, «состояния крайней необходимости» всевозможных классов и слепая готовность уверовать в них. Для того, чтобы подействовать на душу нашей молодежи, надо им *извне* показать картину какого-нибудь несчастья; только таким путем можно возбудить к деятельности их фантазию, которая тотчас же создаст какое-нибудь чудовище и поведет их в бой с ним. Если бы они сами чувствовали в себе силу сделать какое-нибудь добро, пристроить себя к какому-нибудь делу, – они сумели бы создать сами собою свою собствен-

ную нужду. Изобретательность их отливалась бы тогда в более тонкие формы, и чувство удовлетворения звучало бы, как прекрасная музыка. Теперь же они наполняют мир только криками: «караул!» и потому слишком часто обращаются к чувству самообороны. Они не умеют никакого дела начать сами собой – и размалевывают на стене несчастья других; они не могут обойтись только собой, без других! И им постоянно нужна смена этих посторонних лиц! – Простите, друзья мои, за то, что и я отважился размалевать на стене свое счастье.



## Книга вторая

*Реалистам.* – О, вы, рассудительные люди! Вы, которые чувствуете себя во всеоружии против всякой страсти и фантазии и кичитесь своей пустотой, как украшением; вы называете себя реалистами и тем самым намекаете, что мир должен быть таким, каким он вам является: перед вами одними действительность стоит без покрывала, и лучшею частью ее являетесь, пожалуй, вы сами. Но разве, сорвав с мира покрывало, вы не оказываетесь, по сравнению с рыбами, все-таки в высшей степени страстными и мрачными, разве вы не похожи на влюбленного художника? – и чем же является «действительность» для влюбленного художника? Ведь та оценка, которую вы даете окружающим вас предметам, коренится в страстях и влечениях предшествовавших столетий! Рассудительность ваша в сущности является непрекращающимся обвинением! Ваша любовь к действительности, напр., – ведь это старая, престарая «любовь». В каждом ощущении, в выражении каждого чувства заключается частица этой старой любви: и таким образом тут вдоволь проработала и фантазия, и предрассудок, и неразумие, и неведение, и страх, и что там еще есть! Возьмем хоть ту гору, то облако! Ну, что «действительного» есть в этих предметах? Ну, откиньте вы, рассудительные люди, все те фантазмы, которые в них вложены человечеством, и все, что им туда прибавлено. Сделайте это, если только можете, если вы в состоянии забыть свое происхождение, свое прошлое, ту предварительную школу, которую вам пришлось пройти, – одним словом, всю жизнь человечества и животного царства! Для нас не существует «действительности» – и для вас тоже, трезвые люди, – мы далеко не так чужды друг другу, как вы полагаете, и, быть может, наше искреннее стремление вырваться из состояния опьянения настолько же почтенно, как и ваша уверенность в том, что вы вообще неспособны поддаться опьянению.

*Только как результат нашего творчества!* – Мне всегда стоило, да и стоит величайшего труда понять, что язык встречает главное препятствие в том, чтобы дать *вещам такое название*, которое соответствовало бы их сущности. Кличка, название и наружный вид, оценка, обычная мера, прилагаемая к вещам, и их значение – все это является результатом заблуждения и произвола, представляет собой как бы одеяние, накинутое на вещи и чуждое не только их телу, но и коже, – в то же время, однако, благодаря вере, которую человечество питает к этим элементам, и тому росту, который они проявляют при переходе от одного поколения к другому, они постепенно становятся совершенно равнозначными с самою вещью и даже как бы срастаются с ее телом: то, что сначала являлось лишь призраком, со временем становится самою сущностью и *действует*, как нечто действительно существующее. Каким же глупцом был бы всякий, кто воображал бы, что достаточно указать на это происхождение химеры, на то покрывало, под которым она скрывается, чтобы *уничтожить* мир, как нечто, действительно существующее, как так называемую «действительность». Если мы что и можем уничтожить, так это лишь результаты нашего же творчества! – Но не забудем также и следующего положения: достаточно создать новое название, новую ценность, что-нибудь вероятное, и мы, вместе с тем, создадим и новые «вещи», которые проявят себя со временем.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.